

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Ф. И. Тютчев

Глава первая

Москва, 1921

На рассвете зазвонил телефон. Аппарат стоял на этажерке у кровати. Профессор Свешников, не открывая глаз, сел и поднял трубку.

— Михаил Владимирович, простите, что беспокою, ради бога, приезжайте срочно. Я знаю, вы шофера отпустили. Машину за вами уже отправили. Больной самый что ни есть оттуда. Острый живот, температура тридцать восемь.

Звонил заведующий хирургическим отделением доктор Тюльпанов. Шепот его был страшен. Михаил Владимирович ясно представил, как Тюльпанов застыл у стола в своем кабинете с телефонной трубкой в руке. Стоит навывтяжку. Бегают, сверкают маленькие близорукие глаза, дрожат седые усы. При слове «оттуда» указательный палец взметнулся вверх, к потолку.

Доктор Тюльпанов избегал называть вслух, особенно по телефону, имена и должности своих державных пациентов. Он был неплохим хирургом, но в последнее время все реже решался оперировать. При осмотрах больных, на консилиумах, он никогда не высказывал определенного мнения, вместо «я считаю» или «я думаю» предпочитал говорить: «у меня такое впечатление, такое чувство».

С Михаилом Владимировичем он держался подчеркнуто вежливо. Иногда определенно хотел сказать гадость, но вместо этого льстил, заискивал. Случалось, что сложные удачные операции, проведенные Свешниковым, как-то сами собой оказывались победами товарища Тюльпанова. И никто ничего не имел против. Сестры, фельдшеры молчали. Тюльпанов присутствовал в операционной, наблюдал, сопереживал. Михаил Владимирович оперировал. Сначала Тюльпанов говорил «мы», имея в виду себя и Свешникова. Потом стал говорить «я». «Я прооперировал товарища такого-то».

Михаил Владимирович не возражал, не спорил. Тем более что чувствовал: так всем удобней, не только Тюльпанову, но и держав-

ным пациентам. Настоящий кремлевский хирург должен оставаться в тени. Пусть выступает на трибунах и дает интервью сладкоголосый, идеологически безупречный чиновник от медицины.

Нестерпимо хотелось спать. Всего лишь пару часов назад профессор вернулся домой из Солдатенковской больницы, и вот теперь надо опять туда мчаться. За окном послышался рев мотора. Автомобиль подъехал к подъезду.

— Миша, погоди, чаю согрею, — няня Авдотья Борисовна приковыляла из кухни, маленькая, высохшая, она двигалась с трудом, но по-прежнему вставала раньше всех и хлопотала по дому.

— Некогда, няня, прости.

— Шарф надень, холодно. Небритый, исхудал. Стар уж ты, Миша, ночами работать.

— Не ворчи. Где мои ботинки? — Михаил Владимирович присел на корточки, заглянул вглубь обувной полки.

— Так ведь ты разрешил Андрюше надеть, чего же искать? Вон, сапоги твои, я намерни от сапожника принесла. Набойки поставил резиновые, сказал, век сносу не будет, взял дорого, аспид.

Михаил Владимирович, прыгая на одной ноге, стал надевать старый залатанный сапог.

— Няня, а что, Андрюша разве не вернулся еще?

— Сядь, не спешి. Распрыгался. Упадешь, чего доброго, я ж не подниму тебя. Андрюша дома. Вернулся час назад, заснул, не раздевшись, не разувшись, в твоих ботинках. Ты к нему не ходи. Пусть уж проспится.

Михаил Владимирович натянул оба сапога, так и не присев на табуретку, топнул, взглянул на няню.

— Что значит — проспится?

— А то и значит, Мишенька. Пьяный он пришел, пьяный и злой. Лучше б я не дожила до такого срама. Ложечки серебряные от обысков, от товарищей сберегла, целую дюжину, бабушки твоей ложечки, с вензелями, а теперь вот всего три штуки осталось. Об одном молюсь, чтоб только не он это, не Андрюша. Пусть кто чужой, ладно. Только бы не он.

Профессор быстро прошел в комнату сына. Семнадцатилетний Андрюша лежал поверх одеяла, свернувшись калачиком, действительно одетый, в брюках, в джемпере, в отцовских ботинках. Михаил Владимирович перевернул его на спину, почувствовал слабый

запах перегара изо рта. Будить, бранить, воспитывать сейчас не имело смысла. Пяти минут на это не хватит, да и что толку? Слова уже не помогут, все переговорено.

— Ступай, Миша, его теперь пушкой не разбудишь. Танечка проснется, поговорит. Она, чай, построже тебя будет.

Вместе с няней профессор вышел из комнаты, закрыл дверь.

В машине ждал незнакомый хмурый шофер. Усевшись на заднее сиденье, Михаил Владимирович достал из кармана катушку шелковых ниток, принялся завязывать и развязывать разные хирургические узлы. Обычный, двойной, опять обычный. Сначала пальцы плохо слушались, потом ожили, задвигались ловко и быстро, вслепую. Глаза он закрыл и заставил себя не думать о пьяном сыне.

Тюльпанов встретил его в коридоре, у смотровой.

— Поверьте, я не стал бы вас беспокоить из-за пустяка, но тут особенный случай. Лично Владимир Ильич волнуется, просил информировать его каждый час. Пациент, между нами говоря, человек непростого характера. Умоляю, когда будете с ним беседовать, аккуратно, мягче. Очень уж обидчив. Кавказский темперамент.

Все это Тюльпанов быстро, на одном дыхании, прошептал Михаилу Владимировичу на ухо и повлек его под руку в смотровую.

Больной был накрыт простыней до подбородка. На лицо падала густая тень ширмы. Слышалось хрипкое тяжелое дыхание, иногда прорывался глухой стон сквозь стиснутые зубы. В углу сестра Лена Седых кипятила шприцы на спиртовке.

— Боль в эпигастральной и в правой подвздошной области, температура тридцать восемь и два, язык сухой, — доложила она механическим громким голосом и добавила чуть тише, живее: — Здравствуйте, Михаил Владимирович.

Профессор присел на край кушетки, откинул простыню, принялся прощупывать волосатый напряженный живот.

— Так больно? А так?

В ответ больной тихо матерился.

«Богатое уголовное прошлое, — подумал профессор, — кавказский темперамент».

— На левый бок повернитесь, пожалуйста.

— Зачем?

— Будьте любезны, повернитесь. Благодарю вас. Так больно? Где именно?

— Резать меня хотите? — мрачно поинтересовался больной.

От боли и волнения кавказский акцент усилился. Тень уже не прятала лицо, большое, землистое, побитое оспой. Впрочем, Михаил Владимирович узнал его в первую же минуту. «Азиатиче, чудесный грузин».

— Пока хочу только послушать. Задержите дыхание. Теперь дышите глубоко. Курите много. Мало двигаетесь. Спокойней, спокойней, Иосиф Виссарионович, не надо так нервничать.

— С чего вы взяли, что я нервничаю?

— Сердце, оно, знаете ли, притворяться не умеет, у него свои ритмы. Кстати, оно увеличено у вас. Берегите его.

— А живот? Что с животом? Почему температура?

— Острый аппендицит. Придется удалить ваш червеобразный отросток, иначе перитонит, — профессор поднялся, — не волнуйтесь, это быстро и вовсе не опасно. Лена, готовьте больного.

Вместе с Тюльпановым они вышли в коридор.

— Я с самого начала подозревал именно аппендицит, — сказал Тюльпанов, — но мало ли, вдруг почечная колика? Острый панкреатит, холецистит.

Михаил Владимирович остановился, грустно посмотрел на Тюльпанова.

— При остром холецистите боль отдается в правое плечо, в лопатку, френikus-симптом. При панкреатите... — он махнул рукой. — Вы сами все знаете. Что с вами, Николай Петрович? Это азбука.

Глаза Тюльпанова заметались, он вдруг схватил Михаила Владимировича за плечо и прошептал:

— Не могу объяснить. Робею перед ним.

— Полно вам. Вы две войны прошли, японскую, мировую. Робеее! Да кто он? Один из секретарей ЦК, не более. Просто больной, которому нужно вырезать аппендикс.

— Вы правы, тысячу раз правы. Гнусное чувство, стыдное, я так устал. После Кронштадтского бунта Ильич всех подозревает, даже своих. Представляете, что он сказал мне? «За товарища Сталина отвечаете головой». А головы летят, летят, попробуйте тут сохранить спокойствие и силу духа!

— Он знает, что вы меня вызвали оперировать Сталина?

Тюльпанов покраснел, отвел глаза, достал из кармана халата пачку папирос.

— Да... Нет, собственно, Ильич сам высказал эту идею. То есть он просил, чтобы вы товарища Сталина осмотрели. Угощайтесь.

— Спасибо, я натошак не курю.

— Ах, да, я вас вытащил из постели. Понимаю. Слушайте, давайте позавтракаем, а? Его будут готовить минут тридцать. Милости прошу ко мне, выпьем кофе. У меня настоящий, бразильский.

Небольшой уютный кабинет Тюльпанова был обставлен домашнему, старинной мебелью темного дерева, вдоль стен, от пола до потолка, книжные полки. Пол застлан мягким узорчатым ковром. Удобные кресла в полосатых чехлах. На кушетку небрежно брошен вязаный плед, подушка. Единственное, что нарушало старорежимную гармонию — огромные портреты Ленина и Троцкого, изнутри, вдоль рам, украшенные причудливым цветочным орнаментом.

— Кофе люблю варить сам, на спиртовке. Кофейник, видите, настоящий, турецкий.

Тюльпанов поставил на стол серебряную вазочку с печеньем, из ящика извлек плитку шоколада. Михаил Владимирович подошел к телефонному аппарату.

— Я, с вашего позволения, позвоню домой?

— Да, конечно.

Трубку взяла Таня.

— Он проснулся, — сообщила она мрачно, — тихий, виноватый. Уверяет, что это в последний раз. Няня решила спросить его про ложки, он искренне оскорбился. Клянется, что не прикасался к ним. Знаешь, я ему верю. Ну, а у тебя что происходит, папа? Ты совсем не успел поспать.

— Вернусь, выплюсь. Операция небольшая. Аппендицит.

— Хорошо. Я убегаю в университет. У Миши кашель прошел. Андрюша обещал погулять с ним сегодня, у няни голова кружится, Миша бегаёт, как угорелый, она за ним угнаться не может. Да, твоя морская свинка вроде бы раздумала подышать, поела даже.

У Михаила Владимировича пересохло во рту, сердце забилось быстрее.

— Поела? Ты сама это видела?

— Я видела пустой лоток. Воду она тоже выпила.

— Уф-ф, слава богу. Что она теперь делает?

— Веселится, пляшет и поет.

Пока Михаил Владимирович говорил, Тюльпанов внимательно следил, как поднимается пена в медном кофейнике, но все-таки упустил момент. Пена с шипением залила огонек спиртовки. Тюльпанов тихо выругался и проворчал:

— Плохая примета. Плохое начало дня. Ужасно, перед такой ответственной операцией. Теперь вот руки дрожат.

Руки у него правда тряслись. Он едва сумел разлить кофе по чашкам, половину расплескал на блюдечки и на стол. Принялся искать салфетку, не нашел, достал большой носовой платок и стал неловко вытирать кофейные лужицы.

— Николай Петрович, полно вам, — сказал Свешников. — Операция несложная, к тому же резать буду я, а не вы. Зачем так нервничать?

Тюльпанов аккуратно сложил платок, убрал в карман, однако тут же вытащил, встряхнул, скомкал в кулаке и швырнул в мусорную корзину.

— Не знаю. Не понимаю. Впрочем, это пустое, не обращайтесь внимания, пройдет. Я давно уж хочу спросить вас, как продвигаются опыты?

— О чем вы, Николай Петрович? Какие опыты?

— Простите великодушно, я невольно слышал, как вы говорили с дочерью, мне показалось, речь шла о каком-то подопытном зверьке.

— О морской свинке.

— Вы испробовали на ней препарат?

— Я пересадил ей вилочковую железу, — быстро соврал профессор.

— Любопытно. Этот опыт тоже связан с омоложением?

— Омоложение ни при чем. В данный момент меня интересуют вопросы иммунитета. А препарата у меня не осталось, добыть его пока невозможно.

— Я знаю, — Тюльпанов нахмурился, выразительно вздохнул и принялся расхаживать по кабинету. — Чудовищная история. К вам в восемнадцатом подсадили какого-то мерзавца, он расстрелял вашу уникальную лабораторию, убил всех подопытных животных. Варварство, слов нет. Могу представить, что вы тогда пережили. Позвольте еще вопрос, может, нескромный, однако чисто теорети-

ческий. Если бы, допустим, опыты продвинулись, появился бы более или менее очевидный результат, вы бы сами решились?

Он остановился, уставив куда-то вбок, мимо профессора, тревожными красноватыми глазами.

— Нет, — Михаил Владимирович улыбнулся и взял печенье, — нет, Николай Петрович. Я бы не решился. Скажите, где вы раздобыли это кондитерское чудо? Изумительно вкусно. Помнится, у Филиппова продавались такие маленькие крендельки с корицей, вот, очень похоже.

Тюльпанов уселся наконец в кресло, отхлебнул кофе.

— Жена испекла. А вы лукавый человек, Михаил Владимирович. Я был с вами откровенен, может, напрасно? Все никак не могу вас раскусить.

— Зачем раскусывать меня? Не надо. Я не орех, не куриная косточка.

— Остроумно. Опять уходите от прямых ответов. Знаете, многие говорят, вы человек холодный, надменный, чрезвычайно скрытный. Не любят вас, Михаил Владимирович. Коллеги, собраты не любят. Я даже слышал, что вы владеете приемами древней жреческой магии, потому вас так ценит Ильич, вы будто бы приворожили его.

Тюльпанов замолчал, впервые взглянул прямо в глаза Михаилу Владимировичу, но мгновенно отвел взгляд.

— Повезло мне вовремя родиться, — пробормотал профессор, — лет триста назад где-нибудь в Испании, во Франции не избежать бы мне костра Святой инквизиции.

— Не думаю. Инквизиторы тоже болели и нуждались в надежных докторях. Вас бы вряд ли тронули. Жгли мошенников, самозванцев, еретиков. Людей лояльных и полезных не трогали.

— А я разве не еретик? Самый что ни на есть. Впрочем, ладно. Дурацкий какой-то разговор, — профессор зевнул, потянулся, хрустнув суставами. — Няня права, стар я для бессонных трудовых ночей. Будьте любезны, Николай Петрович, налейте еще вашего чудесного кофе.

Тюльпанов вылил ему в чашку все, что осталось в кофейнике, закурил и улыбнулся удивительно сладко.

— Да, вы правы, разговор дурацкий. А все-таки магический элемент в вашем мастерстве присутствует. С точки зрения диалектического материализма чушь полнейшая, мракобесие. Однако я

много раз видел своими глазами, как вы оперируете, это, знаете ли, впечатляет. Поневоле уверуешь в колдовскую силу.

— Не надо, Николай Петрович, не верьте в колдовскую силу. Здоровее будете, — профессор опять зевнул и взглянул на часы, — минут через пять пора идти. Сколько лет нашему больному?

— Он семьдесят восьмого года.

— Значит, чуть за сорок. Выглядит старше. Почему вы его так боитесь?

— Я? Боюсь? — Тюльпанов опять сладко улыбнулся и даже подхихикнул. — Нет, дорогой мой профессор, вы совершенно превратно поняли меня. Я чувствую огромную ответственность за здоровье товарища Сталина, я горд великой честью, миссией, возложенной на меня волей народных масс.

Он медленно встал, распрямился, вытянулся, застыл, молитвенно сложив ладони у солнечного сплетения. Улыбка все еще не сползла, но лицо странно преобразилось, порозовело, стало радостной нежно-персиковой маской, как будто даже структура кожи поменялась, уплотнилась, глянцево заблестела.

Пожилой неглупый человек, опытный врач, любитель домашней выпечки и турецкого кофе, в одно мгновение превратился в куклу из папье-маше.

— Товарищ Сталин — верный друг, ученик и соратник Владимира Ильича. Он прошел подполье, тюрьмы, ссылки, огонь Гражданской войны, не щадя себя, боролся за светлое будущее, готов был пролить кровь за идеалы коммунизма, за наше счастье. Кровь борцов... священная кровь... символ единства... храм всемирного благоденствия...

Если бы он запел петухом или прошелся на руках по кабинету, это показалось бы менее странным.

«Вот действительно магия, — изумленно подумал Михаил Владимирович. — Товарищ Сталин практически никто. Психопатический приступ? Бедняга помешался?»

Тюльпанов между тем замолчал, сник, рухнул в кресло, стал вяло жевать печенье.

— Да, в таком состоянии определенно нельзя оперировать, — сказал Свешников, — что с вами происходит?

— А что происходит? — Тюльпанов густо покраснел. — Что вы имеете в виду?

Михаил Владимирович не стал объяснять, допил кофе, закурил, избегая смотреть в глаза Тюльпанову, и облегченно вздохнул, когда в дверь постучали.

В операционной все было готово. Больной сидел на столе, свесив ноги. Профессор увидел сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге. Особая примета. Вообще весь он, Коба-Сталин, состоял из «особых примет». Левая рука сантиметра на четыре короче правой. Ограниченная подвижность в области плеча. Черты простецкие, грубые. Оспины и пигментные пятна. Низкий лоб. Толстая короткая шея. Топорная работа. Но почему-то лицо притягивало взгляд, врезалось в память.

«Ни с кем его не перепутаешь, — заметил про себя Михаил Владимирович, — интересно... до переворота он был вне закона, много раз бежал из ссылки, пользовался чужими паспортами. Как ему удавалось бежать и скрываться с такой внешностью? Кажется, он даже умудрялся свободно ездить за границу, на партийные съезды».

Анестезиолог подошел к Михаилу Владимировичу и шепнул:

— Отказывается от общего наркоза.

— Невозможно. Под местным я резать не буду, — громко сказал Свешников.

— Будете, — Коба уставился на профессора.

Верхние и нижние веки были мясистыми, тяжелыми. Радужка красно-коричневая, с огненным отливом по краю. Зрачки вдруг показались Михаилу Владимировичу не круглыми, а прямоугольными, как у козла. Этот эффект завораживал, впрочем, длился всего мгновение. Игра тени и света.

— Я вижу, вам лучше, боль утихла. Так бывает иногда, от страха перед операцией. Хочется убежать, верно?

— Не верно. Режьте, но спать не буду под вашим ножом, — он оскалился, из-под усов показались редкие прокуренные зубы. — Вы будете резать, я терпеть. Поглядим, кто кого, господин Свешников.

Михаил Владимирович затылком почувствовал, как напрягся позади него Тюльпанов, когда прозвучало плохое слово «господин».

«Азиатище шутить изволит, — печально вздохнул про себя Михаил Владимирович, — за куражом прячется страх. Он не хочет, чтобы кто-то видел, как ему страшно. Даже здесь, на операционном столе, желает оставаться непроницаемым».

— Мне кажется, Иосиф Виссарионович прав, — кашлянув, вмешался Тюльпанов, — нам следует обойтись без общего наркоза, в данный момент организм Иосифа Виссарионовича ослаблен, и вполне разумно ограничиться местной анестезией.

— Спинальную, по Биру? — робко уточнил анестезиолог.

— Ну что ж, ладно, хотя это глупо, — сказал профессор и отправился мыться.

«Хам, тяжелый неврастеник, — раздраженно думал Михаил Владимирович, пока тер намыленной щеткой руки, от кистей до локтя, — вырежу отросток и больше уж ни за что, никогда лечить этого Кобу не стану».

Явился Тюльпанов и тревожно сообщил:

— Владимир Ильич телефонировал только что. Просил, чтобы сразу после операции вы немедленно ему доложили самым подробнейшим образом.

Михаил Владимирович не считал нужным ответить, растопырил вымытые, рыжие от йода руки, сестра натянула на них стерильные перчатки, встав за спиной, принялась завязывать на профессоре многочисленные тесемки шапочки, маски, халата.

Скальпель едва коснулся бритой кожи живота, а больной уже кричал. То есть это был не крик, а рык, глухой и жуткий. Три пары испуганных глаз над белыми марлевыми масками уставились на профессора. Анестезиолог Иван, доктор Тюльпанов, сестра Лена застыли в нерешительности.

— Я еще ничего не делаю, — сказал Михаил Владимирович, подошел к голове больного и произнес очень тихо, по-немецки: — Первая в жизни полостная операция — это всегда страшно. У вас пустяк, не надо так бояться.

Профессор удивился, почему вдруг он заговорил по-немецки. Как-то само вырвалось и прозвучало странно, неуместно. Вряд ли кавказский пролетарий с уголовным прошлым знает европейские языки.

Коба смотрел снизу вверх, и опять на мгновение возник странный эффект прямоугольных козлиных зрачков.

— Ты врешь, мать твою, врешь, сука, я ни хрена не боюсь. Режь! Что смотришь? Режь, я сказал.

Монолог прозвучал тихо, невнятно, и больше походил на скрипящих дверных петель, чем на человеческий шепот. Затем повисла траурная тишина.

«А ведь он, кажется, понял. Неужели понял? Знает немецкий? Впрочем, какая разница? Нельзя позволять так с собой разговаривать, — подумал профессор, — всему есть предел. С меня довольно».

Михаил Владимирович стянул перчатки, маску, шапочку, покинул операционную, прыгая через две ступеньки, сбегал вниз, по дороге избавился от халата, разодрав тесемки. Пролетел мимо охраны, помчался за трамваем, легко, словно мальчик, впрыгнул на ступеньку, вцепился в поручень.

Михаил Владимирович ничего этого не сделал, остался у стола, в полном обмундировании, стерильный, сосредоточенный, и мягко произнес, глядя в прямоугольные зрачки:

— Давайте-ка мы лучше поспим, товарищ Коба. Так оно спокойнее, и вам, и нам.

Умница анестезиолог догадался на всякий случай все заранее приготовить для общего наркоза. Рябое лицо было накрыто маской. Глаза темно сверкнули и скрылись под толстыми веками.

Операция заняла пятнадцать минут и прошла вполне благополучно.

* * *

Москва, 2007

Квартира была идеально чистой и чужой, как гостиничный номер. Соня лежала на диване, глядя в потолок, и внушала себе, что она дома, все хорошо, жизнь продолжается.

Она прилетела из Германии позавчера. Чемодан до сих пор стоял в прихожей. Переступив порог, она позвонила бабушке в Зюльт-Ост, сообщила, что долетела нормально, пообещала вернуться не позже чем через месяц и сразу отключила оба телефона, задернула шторы, заперла дверь на задвижку.

Она никого не хотела видеть, в том числе саму себя, и всерьез думала, не повесить ли зеркала в ванной, в прихожей, как это делается, когда в доме покойник.

Она смертельно устала. Она чувствовала себя слишком ничтожной и слабой, чтобы решать неразрешимые вопросы. Почти век назад ее прапрадед, профессор медицины Михаил Владимирович Свешников, случайно обнаружил, что у некоторых живых существ

есть шанс не стареть и жить значительно дольше себе подобных. Почему-то теперь именно она, Соня, должна продолжить его исследования, которые сам он, кажется, продолжать вовсе не желал.

Соня тоже не желала. Лично ее вполне устраивал существующий порядок вещей.

Прощаясь в гамбургском аэропорту со своим дедом, в последний раз обернувшись у будки пограничного контроля, Соня испытала жуткую боль. Сжалось сердце. Дед был похож на ребенка. Красный пуховик, тонкие детские ноги в джинсах, разноцветная шапка с кисточками, растерянные, яркие от слез глаза на маленьком бледном лице и уши как локаторы. Словно ему не девяносто, а всего лишь девять, и он не дедушка ее, а сын, которого она бросает. Зачем, ради чего?

«Предательница, предательница», — повторяла про себя Соня, пока летела в самолете.

— Вы не можете оставаться на острове. Единственный шанс для вас и для нас — степь, развалины, — сказал ей Петр Борисович Кольт несколько дней назад, когда они сидели в ресторане на набережной Зюльт-Оста.

За стеклянной стеной гудело ледяное Северное море. Штормовой ветер бился в стекло. Из-за бури выключилось электричество. Погасли фонари, снаружи опустился мрак, внутри зажгли керосиновые лампы и свечи. Соня смотрела, как дрожат отражения огоньков, маленькими глотками пила зеленый чай. В полумраке ресторанный зал лица ее собеседников, подсвеченные снизу, казались безглазыми.

— Но следствие еще не закончено, я потерпевшая и главный свидетель, полиция требует, чтобы я осталась, — сказала Соня.

— До пятнадцатого. А сегодня уже двадцатое, — мягко напомнил Иван Анатольевич Зубов. — Все, что вы могли им рассказать, вы рассказали.

— Это следствие никогда не закончится. Никого из ваших похитителей не нашли и вряд ли найдут, — добавил Кольт.

Свет вспыхнул, заработал аварийный генератор. Посетители ресторана оживились, заговорили громче, дружно похлопали в ладоши. Только трое за столиком у стеклянной стены, Соня, Кольт и Зубов, не выказали никакой радости, как будто даже не заметили, что стало светло.

— Соня, проснитесь, все плохое кончилось, — сказал Зубов и накрыл ее руку широкой сухой ладонью, — съешьте наконец что-нибудь, на вас смотреть больно.

Добрый, умный Зубов все время повторял: я на вашей стороне, я вас отлично понимаю. У нее не было оснований сомневаться в его искренности, хотя, разумеется, он, прежде всего, был на стороне своего хозяина, скромного миллиардера Петра Борисовича Кольта.

Кольт хотел, чтобы Соня продолжала исследования. Он потратил на это много денег и сил, он слепо верил, что препарат профессора Свешникова вернет ему молодость и здоровье. То, что произошло с Соней, лишь разожгло его аппетит. Соню похитили охотники за бессмертием, стало быть, именно она, только она способна повторить чудеса, которые творил при помощи препарата ее прапрадед.

— Соня, вы лучше меня знаете, они вас не оставят в покое, — сказал Кольт, — вам нужна охрана, иначе рано или поздно вы опять окажетесь у них. Надеюсь, с этим доводом вы согласны?

— Согласна.

— Отлично. Поехали дальше. Довод второй, наверное, главный. Вы сами не успокойтесь. Будете думать, мучиться, искать. Вам нужны нормальные условия для работы. Я вполне допускаю, что вы потратите на поиски не один год, более того, я так же, как и вы, отнюдь не уверен в успехе и не исключаю вариант полного фиаско. Я не требую от вас никаких гарантий. Я просто прошу вас продолжить исследования.

Она согласно кивнула. Ей нечего было возразить.

— Вам грустно расставаться с дедушкой, — сказал Зубов, — вы можете навещать его как угодно часто. Но жить здесь, с ним, постоянно вы не можете, верно?

Она опять кивнула.

— Чем вы станете тут заниматься? — продолжил Кольт. — Вы умрете со скуки. Выстроить здесь для вас новую лабораторию я уже не сумею. Да и что толку? Препарата нет. Единственный шанс — степь, развалины.

Разговор пошел по второму, по третьему кругу. Несколько раз выходили курить на открытую веранду. Ветер бил в лицо, гасил зажигалки. Кольт удалился в туалет.

— Зачем тратить столько слов? Я же не сказала нет, — тихо заметила Соня, оставшись наедине с Зубовым.

— Но и согласия своего вы никак не выразили.

— Разве? Я же все время кивала.

— Сонечка, вы только не обижайтесь, может, вам нужна помощь психолога?

— Ага. Психиатра. Я, разумеется, свихнулась после всех приключений.

— Так и знал, что обидитесь. Ну, ладно, простите. А как насчет отдыха на теплом море? Канарские острова, Тенерифе. Вы же нигде не бывали.

— Отличная идея. Петр Борисович оплатит. Это будет очередной аванс, в счет будущих побед.

— Перестаньте, очнитесь, вы как будто под гипнозом, вы похожи на унылую сомнамбулу. Ну, что они с вами сделали, Соня, что?

— Интересно, а бывают веселые сомнамбулы? — спросила Соня и подумала: «Хотела бы я сама понять, что они со мной сделали. Да, конечно, вначале они меня усыпили, вкололи какую-то дрянь, но с тех пор прошло много времени, и потом уж никто пальцем не тронул. Разве что доктор Макс считал пульс и стучал по коленкам».

— Соня, у вас депрессия. Вам нужно как-то встряхнуться, начать жить и работать, — сказал Зубов, тревожно глядя ей в глаза.

— Иван Анатольевич, не волнуйтесь, я справлюсь, — она заставила себя улыбнуться. — Просто мне действительно тяжело расставаться с дедом. Все-таки ему девяносто.

— А вот у нас и третий замечательный довод, — послышался позади бодрый голос Кольта.

«Те, кто похитил меня, тоже приводили этот довод», — хотела сказать Соня, но промолчала.

В Москву из Гамбурга летели втроем. Кольт спал. Зубов сидел рядом с Соней, пытался разговорить ее, но не сумел и хмуро уткнулся в газету.

«Бедняга, он устал от меня. А как я от себя самой устала, словами не выразить», — подумала Соня, глядя в темный иллюминатор.

— Сколько дней вам нужно, чтобы прийти в себя? — спросил Зубов на прощанье возле двери ее московской квартиры.

— Не знаю.

— А кто знает?

— Никто.

— Ладно. Сегодня пятница. Я позвоню вам в понедельник.

Больше всего на свете ей хотелось, чтобы ее оставили в покое. И вот он, долгожданный покой. Пустая тихая квартира. На кухонном столе записка.

«Ура! Утвердили на роль вертухая (со словами!!!) в ист. сериале про репрессии. Лечу на Соловки. Авось прославлюсь (если не сопьюсь). Целую тебя нежно, люблю очень. Твой Нолик».

Школьный дружок, верный Арнольд, часто приходил сюда, возможно даже ночевал, и тщательно вылизал квартиру, что было совсем на него не похоже. Большого неряхи и разгильдяя Соня в жизни не встречала.

«Может, выйти за него замуж? — подумала Соня. — Он будет любить меня очень, целовать нежно. Чистота и порядок говорят сами за себя. Они просто кричат о глубоких и серьезных чувствах Нолика. Он ради меня готов жертвовать собой. Что же мне еще нужно? В тридцать лет пора уж иметь семью, родить ребенка. Я вполне могу вернуться в свой НИИ, работать над докторской. Все материалы готовы, остается только сесть и писать. Мы с Ноликом хорошая пара. Он актер, я ученая дама, биолог. У нас должен получиться удивительный ребенок, если, конечно, Нолик пить не будет».

Перед глазами замелькал ряд идиллических картинок. Круглая добродушная физиономия Нолика в тот волшебный миг, когда она скажет ему: все, Арнольд, я решилась, мы женимся. Сама эта женитьба, застолье в каком-нибудь дешевом ресторане на окраине. Крики «горько», салат оливье и заветренная буженина. Пунцовые щеки и поджатые губы Раисы Андреевны, мамы Нолика. Вот уж кто Соню никогда не полюбит. Впрочем, это пустяки. Главное — сам Нолик. Разве плохо будет жить с ним под одной крышей, спать в одной постели? А потом придет счастье, Арнольдович или Арнольдовна, гениальный обожаемый младенец, не важно, какого пола.

Соня довольно ясно представила себе все, кроме самого главного — ребенка. Вместо трогательного детского плача она услышала крики чаек, плеск волн и мгновенно почувствовала такой холод, что пришлось достать из шкафа второе одеяло.

«Вы не сумеете вернуться в мир профанов. Вы слишком много знаете о жизни, чтобы просто жить. Хотите вы или нет, но вы

уже с нами. Вы одна из нас. Все это замечательно изобразил господин Гете в "Фаусте", перечитайте на досуге.

Соня повернулась к стене, уткнулась в подушку, но в полной темноте, сквозь сжатые веки, все равно видела лицо Эммануила Хота, узкое, темное, изрытое оспинами. Древний магический прием — вырезание следа из земли. Овальный кусок глинозема — вот что такое лицо Хота.

Они именуют себя имхотепами. Они действительно знают о жизни слишком много, чтобы просто жить. Но может, совсем наоборот: они ничего не знают? Их мир иллюзорен, холоден и мертв. Они верят, что сохранить вечную молодость может лишь тот, кто никого не любит. А это есть смерть.

За окном взвыла сирена, звук нарастал, приближался. Соня встала, отдернула шторы. Замелькали синие отблески мигалки. По переулку промчалась «скорая». Когда вой затих, Соня услышала, что звонят в дверь.

Было воскресенье, десять часов утра. Взглянув в глазок, она увидела доктора Макса.

— Соня, откройте, умоляю, — сквозь дверь голос его звучал вполне отчетливо, — нам нужно поговорить.

Когда люди Зубова забирали Соню с борта яхты Эммануила Хота, доктор Макс преградил путь, у него в руке был пистолет, и прощание получилось нехорошим.

«Ты не уйдешь, Софи. Ты должна найти ответ, это твой долг, твой крест. Ты не можешь все бросить и забыть. Цисты у нас. У тебя ничего не осталось», — так, кажется, он сказал.

Из всех обитателей проклятой яхты он единственный говорил по-русски и был похож на живого человека. Соне даже стало жалко доктора Макса, когда кто-то из людей Зубова схватил его сзади за ноги и повалил.

И вот теперь он стоял за дверью ее московской квартиры, умолял впустить. Свет снаружи, на лестничной площадке, был достаточно ярким, чтобы даже сквозь глазок заметить, как доктор Макс похудел, осунулся, какой он бледный и несчастный.

Соня тронула задвижку и заметила, что она едва держится на двух разболтанных винтах.

— Я один, я ничего плохого вам не сделаю. Вы можете вызвать милицию, можете позвонить Зубову, но будет лучше, если вы просто впустите меня.

— Хорошо, — сказала Соня и открыла дверь.

Доктор Макс не вошел, а просочился в узкую щель, захлопнул дверь, оглядел замок и быстро прошептал:

— У вас есть отвертка?

— Кажется, была. Зачем вам?

Макс показал глазами на задвижку, скинул куртку. Руки у него тряслись.

— Соня, слушайте меня внимательно, у нас очень мало времени. Пока вы будете одеваться, я попробую починить замок. Потом мы пойдем куда-нибудь позавтракаем, — он справился наконец со шнурками, разулся.

— Макс, что происходит?

— Потом объясню. Где инструменты?

— Идемте, покажу, — она открыла тяжелый нижний ящик кухонного шкафа. — Берите все, что вам нужно, а я, с вашего позволения, приму душ. Я только что проснулась.

— Хорошо. Но, пожалуйста, быстрее.

«Он выманит меня из дома, и в каком-нибудь тихом переулке они заташат меня в машину, — думала Соня, стоя под горячим душем, — надо было включить телефон и позвонить Зубову. Зачем я вообще впустила доктора Макса? Почему так спокойно оставила его одного распоряжаться в моем доме? С какой стати он вдруг взялся чинить задвижку? На самом деле она уже лет десять держится на одном винте, просто раньше никто этого не замечал. Может, он блефует? Устроил хитрую инсценировку перед похищением?»

Нет, пожалуй, доктор Макс не блефовал. Она поняла это, как только увидела его изможденное, бледное до синевы лицо, красные воспаленные глаза, трясущиеся руки. Но дело даже не в том, как он выглядел, как вел себя и что говорил. Соня прекрасно понимала, что второго похищения не будет. После такого позорного провала они должны изменить тактику. Они станут действовать спокойней, тоньше. Они будут рядом и продолжат обрабатывать ее, им ведь нужно ее добровольное согласие.

Глава вторая

Москва, 1921

«Весна, чудесное раннее утро. Грациозные облака похожи на призраки маленьких танцовщиц в газовых пачках, с белыми развевающимися волосами. Воздух удивительный, пьяный, счастливый. Ну и что? Она меня совсем не любит, и, стало быть, все напрасно».

Федя Агапкин шел по Тверской-Ямской улице. Ему было жарко в кожанке, он прятал печальные глаза под козырьком фуражки. Трамвай прозвенел, в грязных стеклах тускло вспыхнуло солнце. Прошел дворник с метлой, мелко, вразвалочку, просеменила баба с ведром, накрытым тряпицей.

— Пирожки горячие, пирожки с горохом, с ливером, с пылу, с жару, — пропела она басом, поравнявшись с Федором, — гражданин чекист, купи пирожок!

«Не любит, — думал Федор, — и эта ласковая утренняя дымка, нежный оттенок неба, какой бывает только в апреле, эти отблески солнечного света, этот я, здоровый, сытый, сильный, — ничего не нужно. Таня, Танечка, сколько еще ты будешь меня мучить? Сколько еще мне страдать? Не любишь, так отпусти, я бы нашел себе другую, простую веселую девушку, жил бы с ней, спал бы с ней. Нет. Я уже пробовал. Нет. Не могу с другой. Танечка, не могу, отпусти!»

Из подворотни вылетела стая беспризорников, бросилась врассыпную, кто-то помчался наперерез трамваю, кто-то успел вскочить на подножку. Трель милицейского свистка, крики «Атаа!», «Держи!», вой и брань бабы наполнили улицу.

— Ограбили! Убили! Убили, ироды!

Двое проворных оборвышей успели на бегу сдернуть с ведра тряпицу, утащить несколько пирожков.

«Что же я все твержу: отпусти! Разве она держит меня?» — горько спросил себя Федор, но не сумел самому себе ответить. Не было ответа на этот вопрос и никогда не будет.

Федор вздрогнул, огляделся, словно проснулся, вынырнул из какой-то своей внутренней реальности, в которую погружался всякий раз, когда думал о Тане. Солнце ударило в глаза, тяжесть внешнего мира обрушилась, накрыла с головой, как штормовая волна.

Ни одного беспризорника уж не осталось. Их будто смыло. Трамвай уехал. Вдали растаяла трель милицейского свистка. Мимо шли утренние люди, одетые вполне прилично по нынешним временам, хотя, конечно, весьма странно. Женщины в плюшевых юбках, сшитых из штор и скатертей, в мужских ботинках, в солдатских сапогах. У большинства волосы острижены коротко, из-за вшей. Мужчины плохо выбриты, лезвий не достать. Если, допустим, человек в пиджаке, то на локтях заплаты, сукно истерто и лоснится, как тонкая лайка. Иногда вместо пиджака фрак, а под ним ветхий лыжный джемпер, старушечья вязаная кофта или вообще ничего, кроме грязной манишки. Солдатские галифе, матросские клеши, наконец, просто подштанники вместо брюк, но при этом лаковые бальные ботинки.

Сам Федор одет был по-настоящему хорошо. Куртка и фуражка из мягкой черной кожи, добротные диагоналевые брюки, удобные крепкие сапоги. Белье носил всегда чистое, выглаженное и брился ежедневно, отличными английскими лезвиями. Он забыл, что такое голодные спазмы в животе, как омерзительно быть грязным, вшивым, как холодно в изношенном тряпье, без нижнего белья, зимой, как крепко прилипают портянки к истертой в кровь коже, когда на ногах разбитая затвердевшая обувь.

Он шел быстро, смотрел прямо перед собой и чуть не упал, споткнувшись о какое-то препятствие.

Крепкая вонь ударила снизу в лицо. Словно из-под земли вырос безногий старик. Культы были примотаны к четырехколесной, ладно сбитой тележке. В длиннющих, сильных руках инвалид держал детские лыжные палки.

— Позвольте обратиться, многоуважаемый товарищ, — тихо произнес инвалид, — униженно прошу внимания и снисхождения.

— Что вам нужно? — спросил Федор, морщась и аккуратно обходя инвалида.

— Только вы один можете помочь, многоуважаемый товарищ, на ваше благородство израненной душой уповаю.

Федор достал из кармана мелочь, протянул старику.

— Премного благодарен, рад, что не ошибся в вашем милосердии.

Федор ускорил шаг и опять погрузился в свои мысли, стал подробно вспоминать последний разговор с Таней. О чем они говорили, не важно, о пустяках, как всегда, но в глазах ее появилось теплое влажное сияние, которого раньше не было, и когда она поцеловала его на прощанье, губы ее скользнули по щеке, быстро коснулись краешка его губ. Может, она оттаивала? Или все дело в тифе? Зимой Таня тяжело, страшно болела, чуть не погибла и теперь как будто родилась заново. Остриженные волосы отросли немного, и с такой прической она выглядела значительно младше. Слабенькая, прозрачная, она чаще смеялась и плакала, реже упоминала имя своего мужа полковника Данилова, лицо ее разгладилось, смягчилось, и совсем исчезла ледяная отрешенность, так пугавшая Федора.

— Чистый, сытый, дикалоном несет, — бормотал инвалид и все катился следом, квартал за кварталом, не отставая ни на шаг.

Колеса тележки резво постукивали, концы лыжных палок дробно цокали по разбитому тротуару. Федор уже дал ему целковый, отсыпал папирос из портсигара, но старик продолжал его преследовать.

— А в глазах-то у тебя тоска смертная. Тошно тебе, товарищ многоуважаемый. Вот сделаешь доброе дело, и сразу полегчает, отпустит тоска, дышать станешь полной грудью и радостными глазами глянешь в светлое коммунистическое будущее.

Федор в очередной раз остановился и взглянул на старика.

— Катился бы ты, дед, своей дорогой. Смотри, сейчас площадь перейдем, и дальше тебе все равно ходу нет.

— Да уж, понятно, в Кремль меня, красного бойца, нынче не пустят. Что я ноги делу революции отдал, это пустяк, это тьфу! Что всю мою фамилию, от мала до велика, свалили голод и тиф, это тоже тьфу! Многоуважаемый товарищ, прояви чистосердечное милосердие, верни ты мне ноги, а?

Инвалид сдернул рваный картуз. Вскинутое вверх бородатое испитое лицо растянулось в жуткой беззубой улыбке. На Федора смотрела темная древняя маска сатира. Пегие волосы так причудливо сваялись, что получились настоящие маленькие рожки по обе стороны лба.

— Как же я тебе верну ноги, красный боец? Свои, что ли, отдам?

— Свои точно не отдашь. Да и не нужно мне твоих. Ты мне мои вырасти, собственные, новые.

— Дед, что ты бредишь? Ступай домой, проспись.

— Ступай! — Старик звучно захохотал, вскинул палку, чуть не задев лицо Федора. — Мог бы я ступить хоть шажок, я бы самый был несчастливый человек на свете. Да и дома у меня нет, при госпитале обитаю, при бывшем Святого Пантелеймона, что на Пречистенке, а ныне имени товарища Троцкого Льва Давидовича. Ну, смекаешь, куда клоню? А, по глазам вижу, смекаешь.

— Ничего я не смекаю, все, дед, мне пора на службу, — Агапкин решительно пошел вперед, почти побежал, но старик на своей тележке ринулся следом.

— Погоди, минутку, погоди, не гони! Пожалей ты меня, тварь несчастную, обрубок человеческий! Сведи меня с профессором, словечко одно замолви, скажи, пусть даст мне свое магическое зелье, без ног мне очень худо живется!

— Какой профессор? Какое зелье? — спросил Федор, не останавливаясь, продолжая быстро шагать через Манежную площадь.

— Свешников профессор, Михал Владимирович. Я уж пытался к нему подобраться, и так, и сяк, да его, сам знаешь, ныне в автомобилях возят, охраняют. Вот мне сторож и присоветовал, найди, мол, помощника его, Федю Агапкина. Он, мол, вроде один, без охраны ходит, по Тверской к Кремлю, и не злой, вполне отзывчивый товарищ.

— С чего ты взял, что я Федя Агапкин?

— Так я ж тебя видел, давно еще, в госпитале, да только все никак не мог поймать одного, которое уж утро дежурю, тебя поджидаю, вот повезло, наконец встретились. Ты, многоуважаемый товарищ Агапкин, зришь перед собой не человека, нет, а один только ужас отчаяния, ты помоги мне, Федя.

Старик еще что-то говорил, кричал, но Федор не слушал, он побежал через площадь, к Спасским воротам, не оглядываясь, придерживая фуражку, чтобы не сдуло ветром.

— Товарищ Агапкин, вы чего так запыхались? — спросил красноармеец у моста.

— Бежал. Опаздываю, — коротко ответил Федор.

Соня вылезла из душа, быстро оделась. Макс возился с дверной задвижкой.

— Позавтракать нужно обязательно, и вам, и мне, я заглянул в ваш холодильник, там пусто, — произнес он громким беззаботным голосом, выразительно взглянул на Соню и приложил палец к губам.

— Тут есть неплохое кафе поблизости, — Соня надула щеки и покрутила пальцем у виска, — я готова.

Макс молчал, пока они не вышли из подъезда. Было холодно, влажный ледяной ветер бил в лицо, Соня замотала голову шарфом, спрятала руки в карманы. Макс шел в распахнутой куртке, с голой шеей, но, казалось, вовсе не чувствовал ветра и стужи.

— У вас жучки в квартире. Я нашел один, снимать не стал. Их наверняка много. Их поставили не для вас. Для меня. Они уверены, что вы все равно никуда не денетесь, а вот мне доверять перестали. Соня, мне надо исчезнуть, я больше не могу быть одним из них. Я должен рассказать вам, — Макс болезненно сморщился, Соня заметила, что глаза его наполнились слезами. Впрочем, это могло быть из-за ветра.

Они зашли в пустое кафе, выбрали столик в углу. Соня заказала себе сок, кофе, омлет с сыром, фруктовый салат. Макс заявил, что есть совсем не может, попросил принести воды.

— Ну, я слушаю вас. Здесь ведь нет жучков.

— Нет. Здесь чисто. Но мне очень трудно начать, найти нужные слова, чтобы вы поняли меня и не сочли сумасшедшим. Соня, они опять затевают нечто чудовищное, вы должны остановить их. Вы обязаны, кроме вас никто этого сделать не сумеет.

— Простите, Макс, мне кажется, вы правда немного не в себе.

— Подождите. Не перебивайте меня. Я знаю, это звучит дико и похоже на бред. Вы должны будете ввести препарат Хоту. Это обезглавит орден, внесет смятение в их ряды.

Соня тихо присвистнула и покачала головой.

— Макс, а не проще ли обратиться к профессионалам?

— Вы имеете в виду наемных убийц? — он нервно рассмеялся. — Нет, Соня, это плохой вариант. У таких, как Хот, феноменальное

чутье на опасность. Ну, скажите, почему никто не грохнул Сталина и Гитлера? Ведь были шансы, и реальные покушения были. Что помешало?

— Насчет Сталина — не знаю, вроде бы никто и не пытался. А Гитлера каждый раз спасала случайность.

— Случайность. А почему она не спасла, допустим, Кеннеди или Индиру Ганди? Соня, у меня нет времени и сил доказывать очевидное. Вам придется поверить мне на слово. Уничтожить главу ордена обычными средствами невозможно. Он неуязвим до тех пор, пока не выполнит свою миссию.

— Что за миссия?

— Все та же. Раздор, хаос. Разделить людей по какому-нибудь простому принципу и натравить друг на друга, чтобы люди, поколение за поколением, глохли, слепли от ужаса и не успевали осознать себя людьми. В двадцатом веке им удалось расколоть мир крестообразно, стравить людей по двум линиям разлома. Раса, национальность, как в случае с германским фашизмом. Социальный класс. Богатые и бедные, как в России в период коммунистического бреда.

— Погодите, Мак! — Соня едва сдержала нервный смешок. — Вы хотите сказать, Гитлер и Сталин были главами ордена?

— Разумеется, нет, — он махнул рукой, — не надо понимать все так буквально. Эти двое главами ордена не были и быть не могли. Но они оставались под защитой ордена, каждый до своего срока.

— Под магической защитой? — осторожно уточнила Соня.

— Если начну объяснять, мы проговорим до завтрашнего вечера. Магия слишком общее, размытое понятие. Имхотепы используют приемы разных психотехник, манипулируют не только сознанием, но и подсознанием. Гипноз, наркотики, биоэнергетическое оружие. Это особая наука, или искусство. Искусство создавать события. Новейшая их разработка — разделение людей по половому признаку. Сейчас они потихоньку раздувают в массовом подсознании древнейший, вечно тлеющий огонек вражды между полами. На разных уровнях, в разной стилистике внедряется идея о подготовке глобального мирового переворота во имя наступления эпохи матриархата. Женщины станут править миром, первым делом

начнут мстить за многовековое угнетение, унижение. Мужчин уничтожат или обратят в рабство.

Принесли еду, и Соня поняла, как сильно проголодалась. В последний раз она ела в самолете. Дома только выпила чаю и сгрызла пакет орешков.

— Демоническая женственность. Тысячелетнее царство кроваво-жидких жриц, — быстро, нервно шептал Макс, перегнувшись через стол. — Подобно самкам богомола, они станут убивать самцов сразу после совокупления. Древнеегипетский миф о богине Исида, родившей сына Гора от мертвого Осириса. Апокалипсическая жена верхом на звере багряном.

— Тихо, тихо, Макс, успокойтесь, — перебила Соня и поднесла к его губам стакан с водой.

Он послушно глотнул, облизнул губы и покосился вправо. Там, через два столика, сидела приятная молодая пара. Они только что вошли и спокойно читали меню.

— Уходим отсюда, быстро, — сказал Макс.

— Погодите, я еще не выпила кофе. И надо расплатиться.

Макс вытащил бумажник, шлепнул на стол купюру, пятьдесят долларов.

— Вот. Этого достаточно?

— У нас принимают только рубли. Нужен счет. Макс, невозможно так уйти.

— У меня нет рублей. Я поменял семьсот долларов и все потратил. Осталась только мелочь. Я не могу пользоваться кредиткой.

— Ну и ладно. Что вы нервничаете? Сейчас позовем официанта. У меня есть деньги.

Когда они выходили из кафе, Соня взглянула на приятную пару. Мужчина делал заказ, женщина разговаривала по телефону.

— Это их вы испугались? — спросила Соня на улице.

— Не важно, — он рванул вперед, бегом.

Соня отстала немного и заметила, что у него из-за ворота куртки торчит что-то.

— Макс, подождите, стойте, у вас ярлык болтается, надо оторвать.

— А, да, я забыл, — он притормозил на минуту.

Соня дернула капроновую леску, чуть не порезала палец. В руках у нее остался бумажный ярлык и приколотый к нему плас-

тиковый пакетик с лоскутом ткани, кнопкой и белым клочком пуха.

— Давно вы так ходите? — спросила она.

— Куртку я купил только что, тут неподалеку, в торговом центре, как и всю прочую одежду, от ботинок до нижнего белья.

— Куда же вы дели то, что было на вас надето?

— Выбросил.

— Зачем?

— Потом объясню. Сейчас некогда. Соня, слушайте очень внимательно, — он взял ее под руку, она почувствовала, как сильно он дрожит.

— У вас нет температуры? Мне кажется, вас знобит. Хотя бы застегните куртку.

— Умоляю, молчите и слушайте! Вы продолжаете опыты под крышей Кольта. Они будут рядом, держать вас под контролем, психологически обрабатывать.

— Макс, куда мы идем?

Они не шли, а бежали, причем Макс то и дело оглядывался, чуть не вывихивая шею. Было скользко и слякотно, с неба посыпалась какая-то липкая гадость, снег с дождем.

— Вы должны поддаться на их уговоры, притвориться, будто ничего не имеете против.

— Погодите, Макс, я так не могу. Вот еще кафе, давайте зайдём, мне холодно, мокро, я хочу выпить кофе и выкурить сигарету.

— Нет. Нельзя, — он резко остановился, огляделся.

— Макс, никто за нами не идет, расслабьтесь вы хоть немного. Что бы вы сейчас ни говорили, я все равно не слышу, не понимаю.

— Ладно. Вы правы. Так разговаривать невозможно.

В маленькой кофейне играла музыка. Компания подростков громко болтала и смеялась, сгрудившись перед раскрытым ноутбуком. Две аккуратные старушки чинно пили кофе. Больше никого не было. Соня подошла к стойке, заказала себе двойной эспрессо, Максу ромашковый чай.

— Стало быть, вы думаете, что имхотепы хотят натравить друг на друга мужчин и женщин? — спросила она, вернувшись за столик.

— Я не думаю. Я знаю. Они уже это делают.

— Зачем?

Внезапно Макс засмеялся. Смех был тихий, на дребезжащей высокой ноте. Соня решила подождать, пока он придет в себя, спокойно выпила свой кофе, закурила. Музыка кончилась, и странный смех стал слышен на всю кофейню. Подростки не обратили внимания, а старушки тревожно уставились на Макса.

— Ну, все, все, тихо, — не выдержала Соня, — глотните чаю или лучше съешьте что-нибудь.

Макс уже не смеялся, а плакал, горько, по-детски шмыгал носом.

— Вечный вопрос. Вопрос-ловушка, — пробормотал он и высморгался в салфетку. — Соня, зачем был большевизм в России? Нацизм в Германии? Зачем на один маленький двадцатый век пришлось две гигантские мировые войны? Первая вырастила и вскормила две химеры, большевизм и нацизм. Вторая явилась битвой химер, с миллионами убитых и замученных. Зачем? Чему научилось несчастное человечество? Что оно приобрело такой страшной ценой? Ничего! Если вы не понимаете, примите на веру и запомните, как аксиому. Зло иррационально, бессмысленно, противно логике. Внутри нашей системы ценностей мы никогда не найдем честного разумного объяснения ни одному из исторических злодеяний. А наши мозги так устроены, что мы склонны считать необъяснимое несуществующим. Между прочим, одна из гениальных уловок дьявола — притвориться, будто его нет.

— Да, я, пожалуй, начинаю понимать вас, но все это слишком отвлеченно. Я не могу себе представить то, о чем вы говорите. Невозможно развязать войну между мужчинами и женщинами.

— Вы просто не хотите это представить. Слишком ужасно и безнадежно. Разумеется, до войны еще очень далеко, и не обязательно, что она охватит весь мир. Но зерна подозрительности, вражды, ненависти уже посеяны.

«Он правда свихнулся, — спокойно подумала Соня, — он ведет себя как сумасшедший. Полностью, до белья, переоделся в новую одежду, а старую выкинул. Потратил на это все наличные рубли. Поступок психа».

— Хорошо. Допустим. И вы считаете, что предотвратить катастрофу возможно, если Хот погибнет от вливания препарата? — спросила она с той ласково-снисходительной интонацией, с которой обращаются к малым детям и психически больным.

— Отсрочить, притормозить — да. А это уже немало. Вероятно, вам даже придется пройти инициацию.

— Мг-м. И потом у меня будет так же вонять изо рта, как у Хота и остальных?

— Существует тринадцать ступеней посвящения. На последних пяти ритуальности не придается никакого значения. Балахоны, гробы, петли на шею, черное причастие нужны лишь для новичков.

— Черное причастие?

— Ну да. Сложная смесь животных и растительных препаратов. Состав меняется по мере продвижения адепта. На первых ступенях — высокий процент галлюциногенов. На последних — только биостимуляторы. Вы можете отказаться. Я уверен, вы будете проходить сразу девятую или десятую.

— А если, допустим, пятую или шестую?

— Нет. Они не станут тратить время на эти формальности. Они и так слишком долго ждали. Слушайте главное. Примерно через год вы сумеете создать схему строго научного объяснения действия препарата, вы дадите им гарантию.

— Стоп. Хоту сколько лет?

— Никто не знает.

— Как? Но ведь у него должны быть какие-то документы, официальная дата рождения.

— Последняя официальная дата — тысяча девятьсот тридцать пятый. Но документы врут. Он мог родиться сто, двести, триста лет назад и проживет еще столько же.

— Макс, вы же врач, разумный человек. Неужели вы верите тому, что говорите?

— Достаточно взять у него анализ крови.

— И обнаружить, что в жилах его течет клюквенный сок? — Соня едва сдерживала нервный смех.

— У меня нет времени и сил объяснять вам то, что вы все равно очень скоро узнаете сами. Хот другой. Не совсем человек. Я хотя бы предупредил вас, меня не предупреждал никто, мне пришлось пережить шок. Потом я, конечно, привык, нашел для себя какие-то приблизительные объяснения, ну, просто, чтобы не свихнуться. Семь лет я был его придворным врачом.

Соня впервые взглянула прямо в глаза Максу и удивилась. Не было в них ни тени безумия. Только тоска и усталость.

— Хорошо, Макс, я готова принять вашу логику. Но вы забыли одну деталь. Когда Хот излагал мне свои планы, речь шла о том, что сначала я должна ввести препарат себе, а потом ему.

— Именно так вы и сделаете.

— Я могу умереть, вам это не приходило в голову?

— Нет, Соня, вы от вливания не умрете.

— Интересно. Стало быть, вы поняли принцип действия?

— Невозможно понять, это не для разума, это скорее из области чувств. Меня бы вливание убило. И Хота убьет. Кстати, Кольта тоже убьет, учтите это, на всякий случай. А вы, Соня, будете жить, очень долго, невероятно долго.

— Спасибо, — Соня усмехнулась, — не уверена, хочу ли я этого. Но все-таки какое-то объяснение должно быть. Приблизительное. Чтобы не свихнуться.

— Оно есть. Перечитайте записи профессора Свешникова. Займитесь нейропептидами.

Они вышли из кофейни. Небо расчистилось, выглянуло солнце.

— Макс, нейропептиды были открыты в конце шестидесятых двадцатого века. Свешников не мог знать о них.

— Не важно. Он выявил биохимический эквивалент эмоций, он назвал это ДДФН. Доказательство для Фомы неверующего. Материальное, биологическое подтверждение первичности Духа.

— Макс, я не помню этого. Я почти наизусть знаю записи Михаила Владимировича, но этого не помню, — тихо заметила Соня.

— Отправляйтесь домой, — сказал Макс, — включите телефоны, позвоните Зубову, скажите, что готовы лететь в Вуду-Шамбальск, готовы работать. Там, в степи, ничего не бойтесь, но будьте внимательны и осторожны. Запомните имя. Дассам. Никогда не произносите его вслух, не пытайтесь искать этого человека. Он сам вас найдет и поможет. Каким бы странным он вам ни показался, знайте: ему можно доверять, он на вашей стороне. Все, Соня, я свяжусь с вами, мы поговорим подробней.

— Макс, где вы остановились? Я провожу вас до метро или лучше давайте поймаю для вас машину.

— Соня, идите домой. Скажите Зубову о жучках, пусть его люди снимут.

Макс обнял ее, сухо поцеловал в щеку, отпрянул, побежал через перекресток.

Это был оживленный и опасный перекресток, без светофора. Машины ехали с трех сторон. Но в воскресенье утром движение было не особенно активным. Макс добежал до середины, встал, чтобы пропустить поток, оглянулся на Соню, помахал рукой. Краем глаза она заметила, как тронулся с места бежевый «Форд-Фокус», припаркованный на противоположной стороне, у ограды торгового центра. Он поехал слишком быстро и не прямо, а как-то наискосок, крутым зигзагом.

Взвизгнули тормоза, несколько других машин отчаянно загудели. Макс метнулся в сторону и вдруг полетел. Мгновение он парил в воздухе, в метре от земли, и упал с глухим тяжелым стуком. «Форд» умчался на невозможной скорости. Соня успела увидеть, что номера его густо замазаны грязью.

Глава третья

Москва, 1921

Когда Михаил Владимирович вошел в палату, больной сел, спустил босые ноги на пол, приветливо заулыбался ему, крепко пожал руку, подмигнул.

— Что-то вы давно не навещали меня, дорогой профессор. Я уж соскучился. Только от одного вашего присутствия боль стихает. Вот что значит настоящий доктор, целитель.

— Вам больно? Где именно?

— Ну, нет, это я, конечно, преувеличил. Уже не больно, только щекотно, будто какие-то насекомые там ползают, — он пошевелил рукой, и толстые его пальцы на мгновение стали похожи на извивающихся червей.

«Каков актер, — восхищенно подумал профессор, — сколько разных личин у него в запасе».

— Щекотно, это хорошо. Стало быть, идет заживление, ткани восстанавливаются. Вы лягте, расслабьтесь. Ну, что ж, все замечательно. Сегодня можно снимать швы, и завтра, пожалуй, я вас выпишу.

— Да уж, пора. Почти неделю тут у вас валяюсь. Непозволительная роскошь.

— Разве роскошь? Необходимость. Ну-ка, язык покажите. Широ рот откройте и повернитесь к свету. А-а!

— А-а!

Звук получился глубокий, на басовой ноте. Язык вывалился до подбородка.

— Вот молодец. Хотя, конечно, никакой вы не молодец. Горло у вас нехорошее, гланды воспаленные. А язык — извольте сами посмотреть, — профессор протянул ему зеркало, — видите, серо-желтый, будто мхом зарос. Теперь представьте, такая же дрянь у вас вдоль пищевода, по всей слизистой.

Коба рассматривал себя довольно долго, прятал и опять высывал язык, щурился, двигал бровями, наконец отложил зеркало.

— Стало быть, по языку можно судить о внутренностях? Любопытно, а у вас там что, доктор? Разрешите взглянуть?

— Извольте, — Михаил Владимирович усмехнулся и показал Сталину язык.

— Чистый, розовый, — констатировал он с некоторой завистью, — ну и как вам это удается?

— Умеренность во всем, еще древние знали.

— Хотите сказать, я неумерен? Жру, пью, курю много?

— М-м. К тому же сквернословите совершенно свински.

— Это что, тоже влияет?

— А вы думаете, нет?

Коба расхохотался, хлопнул Михаила Владимировича по коленке.

— Не по-нашему, не по-марксистски рассуждаете, профессор.

— Разве у Маркса написано, что сквернословить полезно для здоровья?

Новый взрыв хохота, добродушное покачивание головой, мигание глазом, совсем дружеское, свойское. Поманив профессора пальцем, Сталин горячодохнул ему в ухо и прошептал:

— А х... его знает, чего там у него написано. Вы лучше с Ильичем об этом поговорите, он «Капитал» наизусть шпарит.

Дыхание показалось огненным. Михаил Владимирович слегка отстранился, тронул кончиками пальцев лоб Кобы.

— У вас жара нет?

— Нет, нет, не беспокойтесь, я уже здоров и готов к дальнейшей борьбе за великое дело освобождения трудящихся.

— Освобождения от чего, простите?

— Ну, профессор, это уж совсем нехорошо, не знать азбучных истин. Разве вам неизвестно, что мы освободили людей от неравенства, от эксплуатации и власти денег?

— Возможно, вы мечтали освободить человека, но освободили зверя в человеке.

— А если я скажу вам, что именно зверя мы мечтали освободить? Неужели вы не понимаете, что он, зверь, единственная реальность, единственная нелицемерная правда о человеке?

— О каждом человеке? И о вас тоже?

— Обо мне? — Усы слегка задрожали, губы растянулись, но затем лицо застыло, отяжелело, отекло, даже нос стал толще, и никакого следа улыбки не осталось.

Повисла неприятная пауза, и чтобы чем-то занять себя, Михаил Владимирович принялся рассматривать книги на тумбочке у кровати.

В. Стомак. «Заболевания желудочно-кишечного тракта»; К. Салье. «Острые отравления, классификация ядов»; «Неврология» Штрюмпеля; тонкая брошюра Осипова «Сифилис и мозг».

Сталин держал паузу. Как всякий талантливый актер, он знал толк в паузах, умел молчать весьма выразительно.

— Увлекаетесь медициной? — спросил профессор и поднял закладку, выпавшую из «Острых отравлений».

Это была четвертушка канцелярского бланка, энергично изризованная, сплошь покрытая причудливым орнаментом. Спирали, окружности, какие-то штучки вроде лепестков или капель, в них неразборчиво вписаны слова. Михаил Владимирович успел заметить несколько раз повторенное слово «Учитель» с заглавной буквы, рядом «ТФ» и еще странный знак, похожий на перевернутый скрипичный ключ.

— Кто предупрежден, тот вооружен, — сказал Сталин.

— Вооружен против кого?

— Да хотя бы против вас, врачей.

— Зачем?

— На всякий случай. Ну вот, скажите, доктор, неужели ни разу не заползло к вам в душу искушение? Допустим, больной вам совсем не симпатичен. Плохой человек, глупый, подлый. Лежит он перед вами на столе, голый, спит крепким сном. Все его потроха наружу, и ножичек острый у вас в руке. Дрогнет рука чуть-чуть, и никто ничего не заподозрит. А, доктор? Ведь бывало?

— Интересный вопрос, — Михаил Владимирович опустил на стул возле койки. — Мне приходилось лечить и оперировать разных людей. Далеко не каждый был мне лично симпатичен. Глупость я особенным пороком не считаю. Подлость? Да, пожалуй. Но даже самый отъявленный злодей мне куда симпатичней смерти. Я хорошо знаком с этой дамой и никогда на ее стороне играть не стану.

— Ха-ха, — сказал Сталин и погрозил толстым пальцем, — у вас двое детей, а было трое. Старший сын умер. Владимир его звали, да?

— Вы так подробно знакомы с моими семейными обстоятельствами. Я польщен.

— Польщены? А что ж нахмурились? Слушайте, вот если бы, допустим, убийца вашего Володи лег к вам на стол, тогда как?

— Убийца моего Володи — пневмония.

— Пневмония — болезнь тяжелая. Но не обязательно смертельная, верно?

— У Володи двухсторонняя пневмония случилась на фоне давнего туберкулезного процесса.

— Туберкулез? У кого его нет? Я вон тоже болел и ничего, жив, как видите. И воспалением легких болел в ссылке, при сибирских морозах, на тощих арестантских харчах. А ваш сынок жил комфортно, питался хорошо. Мог бы и поправиться. Кто с ним был рядом в последние минуты? Кто видел, как он умер? Случайно не ваш ассистент, не товарищ ли Агапкин?

— Какое это имеет значение? — сухо спросил профессор.

— Да, в общем, никакого, — Сталин пожал узкими покатыми плечами. — Агапкин — товарищ надежный, настолько надежный, что партия доверила ему самое драгоценное здоровье в мире, здоровье Ильича. Партия ведь не могла ошибиться. Отдельный человек слаб, ошибается легко, может принять лютого врага за верного друга, пригреть змею на груди. А вот партия совсем другое дело, партия не ошибается никогда. Верно?

На Михаила Владимировича смотрели, не мигая, карие глаза с огненным отливом. Черные точки зрачков медленно расширялись. Форма их из округлой сделалась сначала овальной, а потом возникли два отчетливых горизонтальных четырехугольника, аккуратных и холодных, как могильные ямы.

Профессор выдержал этот взгляд. Он не пытался объяснить странный эффект, он уже понял, что это не игра тени и света, не оптический обман, и читал про себя любимую нянину молитву «Да воскреснет Бог...».

— ...во ад сошедшего, и поправшего силу... и даровавшего нам Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата, — вдруг донесся до него низкий, глубокий голос.

Сталин произносил те же слова, но только вслух, нараспев, как настоящий священник. Грузинский акцент почти пропал. Рука поднялась, толстые пальцы сложились щепотью. Он перекрестился, но как-то странно, снизу вверх и слева направо.

— Да, я слышал, вы окончили Духовную семинарию в Тифлисе, — спокойно заметил профессор, все еще не отводя глаз и наблюдая, как зрачки возвращаются к своей нормальной округлой форме.

— Не окончил. Меня выгнали с последнего курса за революционную деятельность. Моя мама до сих пор сильно переживает. А вы забавный человек, забавный. Теперь я понимаю, почему Ильич вам так доверяет.

— Ну, и почему же?

— Вы нас совсем не боитесь. А потому не врете. Хотя, конечно, врать умеете. И молчать умеете. Это ценное свойство, это дар Божий, молчание, — он опять расхохотался, весело, заразительно, и скорчил удивительно смешную рожу.

* * *

Москва, 2007

— Пожалуйста, вызовите «скорую», у меня нет с собой телефона, — обратилась Соня к первому попавшемуся прохожему, пожилому мужчине в наушниках, с черной таксой на поводке.

— Я это уже делаю, не видите? — ответил мужчина.

— Когда они приедут?

— Девушка, не мешайте, и так ничего не слышно!

— Простите. Спасибо, — пробормотала Соня и медленно, на негнущихся ногах, пошла по проезжей части, к Максy.

— Куда, дура! Жить надоело? Хочешь, как он, мать твою! — завопил из окна грязной «Газели» кудрявый молодой блондин и показал кулак.

Движение продолжалось, более того, многие ехали быстрее, знали, что через пару минут нагрянет милиция, «скорая», перекресток перекроют.

Макс еще дышал, дрожали веки, из носа, изо рта текла кровь. Соня опустилась на асфальт с ним рядом, посреди мостовой, взяла его руку, нащупала слабый нечеткий пульс. Губы его шевельнулись, Соне показалось, он что-то сказал, она склонилась ниже и услышала:

— Нейропептиды... каннибализм у примитивных народов... самка богомола... черное причастие... запомни, Соня... you must

do your best, Соня, don't forget, Дассам... ты должна... — английские слова мешались с русскими, кровь потекла сильнее. — I am sorry no more time to explain... Accident... несчастный случай.

— Макс, я видела, я знаю, это они, машина мчалась прямо на тебя, нарочно!

— Нет, only accident... пусть змей убьет Хота, цепь оборвется... Соня, ты должна, ты справишься. Будь внимательна с его кровью. Незрелые эритроциты, с ядрами. Анализ ДНК. Теламераза, ген пи аш 53. Все зафиксируй и надежно сохрани.

Хотелось приподнять ему голову, но она знала, что делать этого не следует до приезда «скорой». Если сломан позвоночник, можно навредить.

Несколько человек уже топтались рядом, но никто не решался подойти ближе, тихо переговаривались, охали, какая-то спортивная старуха в розовом лыжном костюме громко выкрикивала проклятья всем проезжающим машинам.

— Скажи, что не знаешь меня, ничего не говори им, — бормотал Макс уже только по-русски, совсем без акцента. — Где ты, Соня? Не вижу тебя, где ты?

— Макс, я здесь, — повторяла Соня по-русски и по-английски. — Держись, не уходи, пожалуйста, ты выбрался, ты теперь свободен, именно сейчас ты начнешь жить своей собственной, отдельной жизнью. Ты женишься, у тебя будут дети. Я даже знаю кто. Две девочки, Ксю и Ли.

Визжали тормоза, от сигнальных гудков лопались барабанные перепонки. Небо почернело, опять сплошной пеленой повалил мокрый снег. Соня чувствовала, как пробегает по телу Макса быстрая мелкая дрожь, словно слабые разряды электричества.

— Ты замечательный врач, умный, чуткий, талантливый. Пожалуйста, немножко потерпи, вот, слышишь, сирена. «Скорая» едет, тебя спасут, — она бормотала, сама не ведая что, не замечая слез и мокрого снега.

«Скорая» действительно подъехала, следом сразу две милицейские машины. Бригада бросилась к Максy, Соня видела, как двое в зеленых халатах присели возле него на корточки, потом ее отвлек толстый милицейский капитан. Она сразу стала рассказывать ему о бежевом «Форде-Фокусе», хотела подвести к тому месту у ограды

торгового центра, где он стоял, показать, как он сорвался, помчался на Макса.

— Так уж и помчался? Специально, чтобы сбить?

— Специально! Я видела! — прозвучал рядом пронзительный голос спортивной старухи. — Убийцы, наркоманы проклятые! Всех их за сто первый километр, у кого иномарки, сразу за сто первый! А то разъездились, простому человеку уж и ходить негде!

Старухой занялся другой милицкий чин, отвел ее в сторонку, а Соне продолжал задавать вопросы толстый капитан. Соня механически отвечала и вдруг увидела, что «скорая» уезжает, а Макс так и остался лежать.

— Почему? — спросила она капитана.

— Мертвый он. Его труповозка заберет. Давайте-ка проедем в отделение, тут недалеко, надо протокол оформить.

— Как мертвый? У него пульс, он дышит.

— Врачи сказали — мертвый. Идемте в машину. Нужен ваш паспорт.

— Он у меня дома, я живу совсем рядом. Погодите! Они даже не пытались его спасти!

— Девушка, ну врачам-то видней. Значит, как вы сказали его зовут?

— Макс Олдридж. Год рождения точно не помню, между шестьдесят четвертым и шестьдесят седьмым. Профессия — врач, онколог. Кажется, он не женат, детей нет. Из родственников вроде бы жива мама.

— Мама, говорите? Слушайте, вы уверены, что он гражданин США?

— Мы встречались несколько раз в Германии, он говорил, что живет в Америке. Посмотрите, у него должен быть с собой паспорт.

— Паспорт? — капитан вытер мокрое от снега лицо и странно взглянул на Соню. — Ладно, давайте-ка пройдем к машине.

— Я никуда не пойду, пока он лежит. Тут что-то не так, — упрямо повторила Соня. — Почему они сразу уехали, почему не забрали его? Он жив, у него пульс, он разговаривал со мной!

— Может, вам послышалось? Что именно он сказал?

— Accident.

— Вот видите, потерпевший сам назвал это несчастным случаем. Ну, а еще?

— Нейропептиды.

— Чего? — капитан сморщился. — Объясните, не понял.

— Вообще пептид — любое органическое вещество, у которого молекулы по структуре как белковые, но меньше размером, — механически стала объяснять Соня, — приставка «нейро» обозначает все, что связано с нервной системой.

— Нейропептиды, — пробормотал капитан и покачал головой. — Вот надо же, помирает человек, а в голове что? Нейропептиды.

Из-за поворота с воем вылетел реанимобиль, остановился рядом.

— Что за черт, почему вторая «скорая»? — удивился капитан и пошел вразвалку к бригаде.

Соня пошла с ним, но ее остановил старший лейтенант.

— Сядьте, пожалуйста, в машину.

Не глядя на него, Соня бросилась к Максусу.

— Стойте, куда? — крикнул лейтенант.

Макса перекладывали на носилки. Эта бригада в отличие от первой обращалась с ним бережно, как с живым.

— Он жив? Вы спасете его? — спросила Соня.

— Шансов мало, но попробуем, — пожилой врач влез в фургон следом за носилками, дверцы захлопнулись, реанимобиль сорвался с места, взвыла сирена.

Несколько зевак все не расходились, в их ряды вернулась спортивная старуха.

— Ну, правильно, сейчас как раз на органы и заберут, чего ж добру пропадать, — сказал маленький тощий мужчина с длинными, крашенными в жгучий черный цвет волосами.

— Ага, точно! Это мафия медицинская работает, у них все налажено, — подхватила старуха.

— Милиция тоже в доле, само собой, в доле, — возбужденно продолжал крашеный, — все шито-крыто, документиков при нем нетути, согласия родственников не требуется, все его потроха, печенька, селезенка, почки, аккуратно вытащат, по холодильникам разложат и продадут богатеньким, которые свое здоровье всякими излишествами загубили. Деньжищи, подумать страшно, миллионы в свободной валюте!

— Как нет документов? Откуда вы знаете? — спросила Соня.

Крашенный повернулся всем корпусом, уставился на Соню, дернул головой и громко произнес:

— Она стояла с ним, она его толкнула под колеса! Я видел!

— Так, минуточку, — вмешался лейтенант, — что вы видели, гражданин? Документы ваши будьте любезны.

Крашенный мгновенно достал паспорт из-за пазухи, протянул лейтенанту.

— Пожалуйста, готов выступить свидетелем, вот эта девушка стояла рядом с убитым мужчиной, они говорили о чем-то, потом она сильно толкнула его на проезжую часть, как раз под колеса.

— Где именно они стояли? Можете показать? — спросил лейтенант, брезгливо морщась, и вернул паспорт.

Крашенная голова опять дернулась, глаза быстро, тревожно забегали.

— Вот, прямо тут и стояли, где все произошло.

— Тут? На проезжей части?

— Ой, ладно врать-то, — подала голос спортивная старуха, — стояли они на тротуаре, а сбили его вон аж где, посередине мостовой, и никто никого не толкал. Он пошел через дорогу, она осталась и к нему потом побежала, когда уж он упал.

Соня не могла произнести ни слова, она, не отрываясь, глядела на крашеного. Даже сквозь пелену мокрого снега было видно, какая странная у него мимика, как быстро и без всякого соответствия с произносимым текстом меняется выражение маленького сморщенного лица. Ходуном ходят кустистые седые брови, губы пучатся трубочкой, чмокают, растягиваются в лягушачьей сжатой улыбке, и весь он непрерывно движется, подергивается, словно на шарнирах.

— Да что вы бабу слушаете, товарищ милиционер? У них все заранее сговорено! Они ж нас ненавидят, суки хитрые, что молодые, что старые! Они нас истребляют, сначала по одному, потом скопом, вон, в Европе сплошное бабье в политике, мужиков совсем не осталось, всех извели феминистки проклятые! — монотонно, на одной высокой тоскливой ноте, кричал крашенный.

— Ты что несешь, слабоумный? Товарищ милиционер, что он несет? Да по нему психушка плачет! — мощным басом перекрикивала его спортивная старуха.

— Вот-вот, и по психушкам нас распихают, сколько уж людей споили, истребили, до белой горячки, до петли довели бабы!

— Это кто ж вас, гаденышей, спаивает, кто вас истребляет? Сами вы, сволочи, себя губите, пьете, в игральные автоматы играете! — старуха схватила крашеного за шиворот, тряхнула.

Если бы не лейтенант, они бы подрались, и ясно, что победила бы старуха. Соня так и не узнала, чем закончилась дискуссия, ее увел толстый капитан, усадил в машину.

— Ну, психов развелось, — он достал из бардачка пачку сигарет, протянул Соне, — хотите?

— Спасибо, у меня есть.

Минуту молча курили. Соня назвала свой адрес, потом спросила:

— Вы записали номер той первой «скорой»? Откуда вообще она взялась? Разве могут врачи бросить живого человека посреди улицы?

— Перестаньте, — поморщился капитан, — вы прямо как тот недоумок, честное слово. И так голова идет кругом. Слушайте, а может, вы все-таки ошиблись? Может, этот ваш Макс Олдридж никакой не американец?

— Вы же видели его документы.

— Ничего при нем нет. Ни паспорта, ни прав водительских, ни карточек кредитных. Пусто, глухо.

«Бумажник, — вспомнила Соня, — в кафе при мне он доставал бумажник из внутреннего кармана куртки».

Она открыла рот, чтобы сообщить об этом капитану, но заметила, что водитель сейчас пропустит поворот в ее двор, и сказала:

— Вот тут налево. Мы уже приехали.

Глава четвертая

Москва, 1921

— **А** Федя, доброе утро. Ну, как там наш Коба? — спросил вождь, едва Агапкин переступил порог.

В маленькой столовой стол был накрыт к завтраку. Надежда Константиновна намазывала масло на белую горбушку, не для себя, для Ленина. Он механически жевал, прихлебывал кофе из щербатой фаянсовой чашки, сопел, хмыкал, проглядывая свежий номер «Известий».

— Володя, твоего обожаемого Сталина оперировал Михаил Владимирович Свешников, операция прошла успешно, тебе об этом по десять раз в день докладывают, — заметила Мария Ильинична с той особенной, нервно-иронической интонацией, которая появлялась у нее всякий раз, когда речь заходила о наркоме по делам национальностей.

— Маша, тебе не стыдно? Обожаемому, драгоценному аппендикс вырезали, — подхватила Надежда Константиновна. — Событие государственной важности, а ты проявляешь нечувствительность.

— Наоборот, я глубоко и серьезно переживаю за товарища Сталина, — Мария Ильинична бросила в рот крошечный кусок колотого сахара. — Роскошный мужчина, горячий, темпераментный и почти жених мой.

— Маняша, перестань, — Ленин виновато покосился на сестру. — Ну, сколько можно язвить? Я уже признал свою ошибку, извинился перед тобой сто раз.

— О чем это вы? — удивленно спросила Крупская.

— А, Надя, ты не знаешь? Володя сватал меня ему, так и сказал: почему бы вам, Иосиф, не жениться на моей сестре Марии Ильиничне?

— Володя, это правда? — Крупская охнула и покачала головой. — Ты с ума сошел? Сталин женат, у него недавно сын родился!

— Ну, все, все, хватит, — проворчал Ленин и нарочно громко зашуршал газетой, — я знаю, что он женат, знаю!

— Разумеется, знаешь, — вздохнула Мария Ильинична, — ты хлопотал, чтобы ему в связи с прибавлением семейства дали квартиру поудобней. Предлагал даже поселить его в парадных комнатах Большого Кремлевского дворца. С его супругой ты отлично знаком. Надя Аллилуева, служит у тебя в секретариате.

— Володя, ты стал очень рассеян, — строго заметила Крупская.

— Неправда. У меня с головой все в порядке, — Ленин раздраженно отложил газету. — И нечего делать из меня маразматика. Просто Аллилуева совсем девочка, я думал, она дочь Кобы. К тому же я знаю, что он вдовец, жена померла давно еще, лет пятнадцать назад.

— Девочка, — морщась, вскрикнула Мария Ильинична, — вот именно, девочка, в дочери ему годится, двадцать три года разница в возрасте. А ты ему меня, старую гримзу, предлагал. Знаешь, как он называет таких, как я? Идеиная селедка! Володя, ты понимаешь, до чего это гадко, унизительно? Я хоть и большевичка, и твоя сестра, а все-таки немного женщина, как ни прискорбно тебе это слышать!

Она громко двинула стулом, встала и вышла из столовой.

— Маня, подожди, кофе допей, — Крупская взяла ее чашку и отправилась следом.

Вождь поднял глаза на Агапкина, поморгал и печально произнес:

— Ох, какие мы стали нервные.

Ему было досадно, что тихий семейный завтрак скомкан, испорчен, сестра обижена, жена с ней заодно, а сам он, очевидно, неправ.

Федор мимоходом отметил про себя, что почему-то всякий раз, как возникает в обычном мирном разговоре имя Кобы-Сталина, происходит маленькая гадкая склока, словно вместе со звуком имени пробегает по комнате ледяной зловонный ветерок, совсем легкий, неуловимый.

«Все это мои фантазии, — подумал Федор, — просто мне кавказец неприятен. Сочетание простецкого казарменного хамства с утонченным иезуитским ханжеством. Вроде солонины с патокой, гадость».

Впрочем, Федор мгновенно отбросил от себя мысли о наркоте по делам национальностей, человек этот совершенно ничего не значил в его жизни.

— Желудок пятые сутки не работает, — тихо пожаловался вождь, — я расклеиваюсь, Федя. Зрение портится, а от очков переносица болит.

Федору хватило одного взгляда, чтобы понять — ночь опять была бессонная, голова раскалывается, все раздражает. Вождь нуждался в двойной порции специального утреннего массажа, и, пожалуй, следовало дать ему вечером касторки. А от сумнацетина и веронала пора отказаться. Эти успокоительные уже не успокаивают, только вредят.

«Сразу отменять нельзя, — думал Федор, привычными движениями растирая виски и ушные раковины Ленина, — нужно потихоньку уменьшать дозы, подменять чем-то безобидным. Аскорбинкой, содой. Он ведь упрямый, просто так с привычными порошками не расстанется. В нем в последнее время появилось мелочное, тупое упрямство. Нехороший признак. Вообще с каждым днем ему хуже. Организм его приходит в негодность, разрушается, точно так же, как разрушается сейчас Россия. Но ему до России дела нет. Он страдает не из-за того, что провалился его грандиозный утопический проект».

Федор был уверен, что резкое ухудшение здоровья вождя связано вовсе не с умственным переутомлением и даже не с крахом коммунистических мечтаний, а совсем с иным событием: со смертью Инессы Арманд.

Она умерла в сентябре 1920 года на Кавказе от холеры. Ее привезли в Москву в свинцовом гробу. Ночью, под дождем, вождь пешком провожал этот гроб от вокзала к Красной площади, слезы текли по щекам, несколько раз он терял сознание, а во время гражданской панихиды упал на гроб, обхватил его руками, рыдал, задышался, бился лбом о свинцовую крышку. Вот тогда и начался следующий этап болезни, вероятно, финальный этап.

Михаил Владимирович осматривал вождя не реже раза в неделю и давно уж говорил, что дело плохо. Болезнь прогрессирует, мозг все хуже снабжается кровью. Изнуряющие головные боли, провалы в памяти, судорожные припадки. В скором будущем —

паралич и слабоумие. Можно облегчить страдания, но вылечить нельзя.

Впрочем, все это профессор Свешников говорил только Федору, наедине. Больному и его близким Михаил Владимирович старался внушить надежду. Требовал, чтобы больной вел себя разумно, жил за городом, в покое, на свежем воздухе, ложился спать не позднее полуночи, меньше работал, больше отдыхал. Профессор считал, что, соблюдая эти элементарные правила, вождь протянет еще года три.

— Ну, как, по-твоему, Федя, сколько мне осталось?

На этот вопрос Агапкину приходилось отвечать ежедневно и врать во благо, из лучших побуждений.

— Все зависит от вас, Владимир Ильич, — говорил Федор и повторял слова Свешникова о щадящем режиме.

— Ничего уж от меня не зависит, совершенно ничего! — жалобно вскрикивал вождь. — Вырывается машина из рук!

Он твердил эту странную фразу как заклинание. Непонятно, свой ли несчастный организм он сравнивал с машиной или разваливающуюся, бунтующую против новой власти Россию.

Пока шла Гражданская война, все беды легко было валить на белых и Антанту. Война кончилась, начался чудовищный голод, поднялись стихийные народные бунты. Тамбовское восстание под руководством бывшего эсера Александра Антонова к началу 1921 года охватило Воронежскую, Саратовскую, Пензенскую губернии. Настоящая дисциплинированная армия, около пятидесяти тысяч вооруженных повстанцев, готовилась идти на Москву.

В феврале восстала Западная Сибирь, забастовали московские рабочие, мятеж подняли моряки Кронштадта, те, кого называли оплотом революции.

Все это подавлялось с бешеной жестокостью и объяснялось происками недобитых белогвардейцев. Больной Ленин оставался сильным и хитрым диктатором, он ловко использовал древний метод кнута и пряника.

— Чем он безумней, тем разумней ведет себя как государственный муж, — заметил Михаил Владимирович после того, как в марте на десятом партийном съезде вождь объявил о переходе к новой экономической политике.

— Думаете, он больше не одержим идеей мировой революции и построения коммунистического общества? — спросил Федор.

— Он не настолько глуп, чтобы искренне верить, будто люди станут совершенно счастливы, если отнять у них имущество и деньги. Идея! Звук пустой, химера. Одержим он был самим собой, собственным «я», раздутым и воспаленным, как нарыв. Я великий, могучий, я создам другой мир, совершенней того, что есть, переделаю людей, исправлю ошибки Господа Бога. Я знаю как, я могу лучше, чем Бог. Я, я, я! Теперь он смертельно устал. Он ведь, по сути, не злой человек, а такое натворил. Не он один, конечно, однако, кажется, из всех из них только он трезвеет понемногу. Ему тошно и страшно. Он страдает, мечется, ищет оправдания.

— Что же будет дальше?

— Не знаю. Поживем — увидим.

По глазам Михаила Владимировича было ясно, что он не надеется на лучшее. А Федор надеялся. Вот, уже ходят трамваи, появилась частная торговля, власть перестала грабить крестьян, голод скоро закончится, и так, потихоньку, шаг за шагом, жизнь вернется в обычную колею. Пусть останутся прежние лозунги, возвеличивание революции, партии, пролетариата и его вождей. Пусть как угодно называется строй — социализм, коммунизм, главное, чтобы люди отмылись, отъелись, оделись. Тогда меньше будет недовольных. Соответственно отпадет и нужда в репрессиях.

И еще, совсем уж вопреки здравому смыслу, потихоньку от самого себя, Федор верил, что Ленина может спасти от болезни и смерти чудесный препарат. Древний паразит излечит его мозг, сосуды станут эластичными, на месте отмерших клеток возникнут новые, здоровые. Обновленный, окрыленный, глубоко раскаявшийся-ся, Ильич сумеет управлять Россией разумно и милосердно.

«Ты понимаешь, что все это детский, наивный бред, — говорил себе Федор. — Да, понимаю, но мне нужны силы, а их дает только надежда, пусть наивная и бредовая. Когда она уходит, мне очень худо, физически худо, я слабею, я могу погибнуть».

Он с особенной тщательностью разминал правые конечности вождя, руку и ногу, которые все чаще теряли подвижность и чувствительность, что было недобрым признаком. Федор, как заведенный, разогревал холодную кожу, разгонял кровь и слышал слабый, на выдохе, шепот:

— Вырывается машина из рук.

Можно было закончить массаж. Правые конечности ожили, ногти порозовели. Федор в изнеможении опустился на стул, вытер пот со лба и решился спросить:

— Владимир Ильич, о чем вы? Какая машина?

Вождь широко, со стоном зевнул, по-стариковски пожевал губами.

— Как тебе объяснить? Ну, представь, будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляет что-то, не то нелегальное, не то незаконное, не то Бог знает, откуда взятое.

* * *

Москва, 2007

Как только вошли в квартиру, Соня включила городской телефон. Капитан звонил по нескольким номерам, разговаривал довольно долго. Наконец положил трубку, вздохнул и сообщил, что Макс Олдридж умер. У него были множественные травмы, несовместимые с жизнью. Личность его установили. Пластиковая карточка, удостоверение доктора медицины, лежала в нагрудном кармане рубашки.

— Почему вы так плохо думаете о людях? — спросил капитан. — Почему вы считаете, что бумажник украли врачи той первой «скорой»?

— Ну, а куда же он подевался? Я видела, как Макс вытаскивал его в кафе, — сказала Соня.

— Откуда вытаскивал?

— Из внутреннего кармана куртки.

— И потом туда же положил?

— Да.

— Куртку застегнул?

— Нет.

— Ну, вот, бумажник мог запросто вылететь при ударе, кто-то из прохожих быстренько подобрал.

— Я бы заметила. Я все время была рядом.

— Да бог с вами, Софья Дмитриевна. Вы были в шоке, когда я к вам подошел, вы, извините, рыдали. К тому же такой снегопад. А бумажник мог отлететь далеко, на тротуар.

— Ладно. Допустим. Но почему вы все-таки не хотите выяснить, что за «скорая» явилась через пять минут и куда она так поспешно исчезла, оставив еще живого человека на мостовой?

— Та «скорая» ехала по другому вызову, они очень спешили. Им показалось, что вашему американцу уже ничем помочь нельзя, им некогда было размышлять. Собственно, они даже не обязаны были останавливаться.

— Бежевый «Форд-Фокус» с заляпанными номерами тоже очень спешил, — устало пробормотала Соня, — и его искать вы не будете.

— Его как раз будем. Шансов, правда, мало, но постараемся. Софья Дмитриевна, прочитайте, пожалуйста, протокол и распишитесь.

Соня пробежала глазами ровные строчки. Почерк у капитана был крупный, детский. Он записал все подробно и точно, даже слово «accident» вывел латинскими буквами, правда, с одним «с». Соня машинально исправила ошибку, расписалась и больше никаких вопросов задавать не стала.

— Вам, Софья Дмитриевна, надо сейчас отдохнуть, отвлечься. Не морочьте вы себе голову всякими кошмарными подозрениями. Каждый день под колесами, в авариях, десятки людей гибнут. Что делать? Это Москва, — сказал капитан на прощанье.

Дверь захлопнулась, Соня тронула задвижку. Макс починил ее. На коридорной тумбе валялась отвертка. Соня опустила на пол посреди прихожей, обняла колени, сжалась в комок, пытаясь унять дрожь. Ей хотелось забыть навсегда лицо Макса, струйку крови изо рта и бормотание: ты должна сделать это, должна, должна...

Она оказалась последним человеком, с которым говорил Макс. Он не успел рассказать все, что собирался. Слишком много осталось вопросов. Чем господин Хот отличается от всех прочих людей и сколько на самом деле ему лет? Зачем господин Хоту паразит, если он и так не помирает? Об этом пока Соня старалась не думать.

Имя Дассам, в связи с Вуду-Шамбальской степью, встречалось в записях Михаила Владимировича. Тут хотя бы можно разобрать-

ся, есть ниточка. А что делать с нейропептидами? ДДФН. Возможно, среди множества загадочных аббревиатур в записях Михаила Владимировича была и такая. Но откуда Макс узнал расшифровку?

Конечно, определенная логика тут есть. Попадая в организм, паразит оценивает его гормональный баланс и на этом основании делает свой выбор. Что такое гормональный баланс? Сегодня науке уже точно известно, что работа желез напрямую связана с нервной системой. За каждой эмоцией мгновенно следует выброс соответствующих пептидных гормонов. Иными словами, сначала чувство, движение души, затем физиология, а вовсе не наоборот.

«Боже мой, но это так просто, — подумала Соня, — любая деревенская бабуля знает, что все болезни от нервов, древнейшее из всех известных направлений медицины, индийская аюрведа, “наука жизни”, основана именно на этом».

Ей стало стыдно за свою снисходительность, за скептическую усмешку, с которой она слушала Макса, когда они сидели в кафе.

Если бы он не погиб, она бы ему не поверила. Но от просьбы умирающего не так легко отмахнуться.

Она все не могла успокоиться, согреться и соображала плохо. В голове сам собой повторялся бессмысленный набор букв и цифр. Это тупое настойчивое повторение ее напугало, вспомнились какие-то смутные истории про зомбирование с помощью словесных и цифровых кодов. Она поднялась с пола, прошла в кабинет, записала буквы и цифры на бумаге и тут же поняла, что это всего лишь автомобильный номер. Номер «скорой», которая уехала, бросила умирающего Макса.

«Что касается бумажника, он действительно мог вылететь из кармана при ударе. Тут капитан прав, — спокойно подумала Соня, — люди из “скорой” не воры. Зачем им бумажник? Нельзя так плохо думать о людях. Просто они должны были удостовериться, что дело сделано».

— Ну, что, господин Хот, вы довольны? — произнесла Соня, обращаясь к невидимым жучкам. — Ваши ребята молодцы. Безупречно разыграли несчастный случай. Типично московский accident. Ничего, что я говорю по-русски? Вам ведь переведут?

Одиноким сиплым голосом прозвучал жалко и неубедительно. Соня замолчала, прислушалась к тишине. Внезапная мысль о том, что

говорит она с пустотой, нет никаких жучков, заставила ее улыбнуться. И тут же в зеркале она увидела себя, с этой жалкой вымученной улыбкой, всклокоченными волосами, опухшими заплаканными глазами, красными пятнами на скулах.

«Если какая-нибудь живая душа и слышит меня сейчас, то это может быть только душа Макса, — подумала Соня, — тело его коченеет в больничном морге, а душа, прежде чем пересечь небо над Атлантикой, обязательно должна навестить меня, удостовериться, что я все поняла правильно и не подведу».

— Господин Хот, — продолжила она вслух по-немецки, — боюсь вас огорчить, но ваши люди поторопились. Вы позволили Максу добраться до Москвы и явиться ко мне исключительно для того, чтобы я получила от него информацию. Он узнал нечто важное и вам открыть не пожелал. Возможно, он открыл бы это мне, но не сразу. Он слишком волновался. Он не успел. Ему нужно было дать время.

Соня замолчала. Ее трясло от холода. Стало тихо, даже шума улицы не было слышно, как будто остановились сразу все машины. Исчезла комната, уплыл пол из-под ног. Время замерло, образовалась ледяная неподвижная пустота, в которую Соня была впаяна, как древняя муха в кусок янтаря. И вдруг зазвонил телефон. Соня подпрыгнула от неожиданности. Прежде чем взять трубку, глубоко вдохнула и выдохнула.

В трубке что-то трещало, посвистывало. Несколько раз Соня повторила: «Алло, слушаю вас», хотела уже нажать отбой, но тут глухой голос произнес:

— Вы опять лукавите, Софи.

Он говорил по-русски, с сильным акцентом. Она, конечно, узнала его, но не могла поверить. Нет, то, что позвонил именно он, именно сейчас, было вполне нормально. Она ожидала чего-то в этом роде. Но он не знал русского. Не мог знать, не имел права знать.

— Я плохо владею вашим языком, я не люблю его, он слишком сентиментален и расплывчат со своими уменьшительно-ласкательными суффиксами, бесконечными синонимическими рядами и качественными прилагательными, — спокойно продолжал голос в трубке, — однако не будем отвлекаться. Мы еще сможем поговорить

на эту интересную тему. Итак, Софи, вы опять лукавите. Макс, конечно, сказал вам не все, но достаточно много.

— Нет, господин Хот. Он ничего не успел сказать, — ответила Соня и с трубкой в руке отправилась на кухню, за сигаретами.

— В таком случае о чем же вы беседовали так долго?

— О вас, господин Хот.

Сигарет на кухне не оказалось. Соня вышла в прихожую, перетряхнула сумку.

— Будьте любезны, подробней.

— С удовольствием. Мы говорили, что вы, господин Хот, мерзавец, самозванец, мошенник, что вы постоянно врете и у вас завышенная самооценка. — Соня бросила сумку, стала шарить по карманам куртки.

— Какая прелесть! — Хот весело рассмеялся. — Жаль, я этого не слышал.

— Все вы слышали, — устало вздохнула Соня, — вы прицепили Максу маленький микрофончик. Он не знал этого.

— Софи, вы меня радуете. Как вы догадались?

— С вашей помощью, господин Хот.

— Потому что я сказал, что не слышал? Думаете, я всегда говорю неправду?

— Уверена. Трюк со «скорой» был весьма красноречив. Фургон стоял наготове. Ваши люди хотели убедиться, что Макс не выживет, и еще — снять подслушивающее устройство.

Сигареты Соня нашла в кармане куртки. Там же лежал картонный ярлык с приколотым пакетиком.

Стало быть, господину Хоту все же не удастся получить запись разговора. Возможно, пока он об этом не знает. Его ждет сюрприз. Обнаружить и снять подслушивающее устройство, спрятанное в одежде, довольно сложно. Макс придумал отличный способ. Зашел в торговый центр и полностью переоделся во все новое.

Кроме сигарет и ярлыка Соня обнаружила в своем кармане еще кое-что. Маленькую темную склянку.

В трубке продолжал звучать спокойный голос Хоты:

— Поздравляю и аплодирую. Стало быть, подозрения относительно бумажника были — как это? Лапшой на уши милому милиционеру? Кстати, он действительно оказался милым, отлично

воспитанным, интеллигентным душкой. Я правильно подбираю слова?

Склянка была размером с перепелиное яйцо, темно-синего стекла. Металлическая крышка запаяна. Никаких наклеек, только на крышке выдавлена едва заметная латинская буква «V».

— Софи, вы слышите меня?

— Да, господин Хот.

— Я задал вопрос.

— Да.

«V» означало «Вакуум». Соня вернулась в комнату, зажгла торшер, поднесла склянку к лампе. Внутри был тонкий светлый порошок.

— Софи, в чем дело? Что происходит?

— Ничего, господин Хот. Я хочу закурить и не могу найти зажигалку.

Глава пятая

Подмосковное имение Горки, 1921

Ленину стало лучше, осмотр закончился быстро, но вождь все не отпускал профессора.

— Федора теперь часто забирает к себе Бокия, — шепотом объяснила Мария Ильинична, — Володе скучно с нами, а от товарищей он устаёт, так мало осталось людей, которые его не раздражают.

Сыграли партию в шахматы. Михаил Владимирович нечаянно выиграл и еще имел глупость извиниться за это. Ленина он рассмешил, зато разозлил Крупскую.

— Вы так извиняетесь, будто хотите показать, что все нарочно проигрывают Володе, потому что он вождь и потому что он болен.

— Не обращайтесь на нее внимания, она сегодня сердитая, — сказал Ленин, — впрочем, извиняться правда не стоило. Это получилось как-то двусмысленно и обидно.

Потом пили чай за овальным столом в овальной гостиной. Ленин вдруг заговорил о литературе, стал рассказывать о своем недавнем визите к студентам Вхутемаса.

— Я их спрашиваю, что читает молодежь, любят ли они Пушкина. Отвечают дружным хором: Пушкин устарел! Буржуй он. Представитель паразитического феодализма. Вот Маяковский наш, революционер, как поэт гораздо выше Пушкина, — Ильич захихикал, позвенел ложечкой в пустом стакане и произнес, длинно растягивая свое картавое «р»: — Дурр-рачь! Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукачество, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция».

— Маяковский — новатор, он искренне, глубоко революционер, — вяло возразила Мария Ильинична.

— Брось, Маняша, он шут гороховый, — Ленин сморщился и махнул рукой. — Нет, я не спорю, возможно, революции нужно и

штукарство. Но только пусть люди меру знают, не охальничают, не ставят шутов, даже революционных, выше буржуа Пушкина.

— Володя, но у Пушкина далеко не все идеологически безупречно, — строго заметила Крупская, — много нездоровой фантастики, мистики, вроде «Вещего Олега». Это совершенно недопустимо. А «Сказка о рыбаке и рыбке»? Что ты усмехаешься? Там внутри простенького сюжетца спрятана очень вредная мораль, она имеет мало общего с моралью коммунистической.

Ленин вздохнул, посмотрел на жену, потом на Михаила Владимировича.

— Изволите ли слышать? А ведь вроде не глупая женщина.

— Надя, что ты несешь? — встряла Мария Ильинична. — Пожалуйста, будь так добра, оставь Пушкина в покое.

— Нет, вот уж дуру из меня делать не нужно, — щеки Крупской стали медленно багроветь, — я отлично понимаю, что ребята больше интересуются рыбкой, чем моралью, но сказка запоминается на всю жизнь и позднее входит в ряд факторов, влияющих на поведение человека. Мы обязаны перевоспитывать массы. Литература должна стать молотом в великой коммунистической кузнице, в которой куется новый человек. Вы, Михаил Владимирович, не согласны со мной?

— Не согласен.

— Почему же?

— Да хотя бы потому, что куют железо, а человек живой. Если по нему бить молотом, он не перевоспитается, он просто погибнет сразу.

— Не надо передергивать, вы прекрасно понимаете, что молот — это только метафора, я говорю о педагогике.

— Пе-да-го-ог, — басом пропела Мария Ильинична и покачала головой.

— Да, представь, Маша, я педагог! Я беру на себя труд заботиться о будущем, о подрастающем поколении, о тех, кто придет нам на смену. Я считаю, что наши лучшие писатели должны создать современную сказку, до конца коммунистическую по содержанию.

— Кто ж ее читать станет, эту твою сказку-молот? — хохотнув, спросила Мария Ильинична.

— Если принять нужные меры, читать станут все, как миленькие. Ты, Маша, вместо того, чтобы язвить, принесли бы варенья.

Оно уж остыло, наверное, — Крупская обиженно засопела и посмотрела на Михаила Владимировича, — у нас варенье, крыжовенное, свежее, только сегодня сварили. Я бы сама сходила, но у меня рука неверная.

— Да, Надя, к варенью тебя лучше не подпускать. В прошлый раз ты взялась разложить по банкам и весь тазик перевалила на пол, — сказала Мария Ильинична и быстро ушла в кухню.

— Маша! Ты злая! Я не виновата, что у меня тремор, — крикнула ей вслед Крупская.

Выпуклые, водянисто-серые, в розовых прожилках глаза набухли слезами. Она сидела, тяжелая, отечная, красная, то и дело оттягивала трясущимися пальцами ворот темного джемпера, он казался слишком тугим для шеи, раздутой зобом. Базедова болезнь перешла в безнадежную хроническую форму, неопасную для жизни, но мучительную для больной и для ее близких. Товарищ Крупская была обидчива, истерична, плаксива. Впрочем, только дома. При посторонних она держалась молодцом.

Вернулась Мария Ильинична с вазочкой варенья. Вождь заговорил о Тургеневе, признался, что его любимый роман — «Дворянское гнездо», и ударился в воспоминания.

— В некотором роде я тоже помещицье дитя. Живал в дедовской усадьбе. Именье Кокушкино, сорок верст от Казани. Красиво там было. У крутой дорожки, сбегавшей к пруду, росли старые липы, так, знаете, ровным кружком, и получалась беседка. Любил я эту беседку. Любил поваляться в копнах скошенного сена, однако не я его косил. Ел с грядок землянику и малину, которую не я сажал.

— Володя, малина — куст, на грядке не растет, — ехидно заметила Мария Ильинична.

Но вождь ее не услышал, продолжал вдохновенно говорить.

— Утречком парное молоко в глиняной кринке, очен-но приятная и полезная штука. Молоко я пил, а корову, между прочим, не доил никогда, — он глухо захихикал, подмигнул и почему-то погрозил пальцем профессору, — так-то, Михаил Владимирович. Пролетариев среди нас мало. Разве что Коба, сын сапожника, но и с ним все не так просто.

Михаилу Владимировичу неловко было сидеть в этой нарядной чистенькой гостиной и слушать откровения вождя. Усадьба Горки

принадлежала Зинаиде Григорьевне Морозовой, из старинного купеческого рода, на который, казалось, легло проклятье.

Савва Морозов щедро спонсировал большевиков и застрелился, завещав им солидную сумму. Скоро случилась еще трагедия. Племянник Саввы, совсем молодой человек по фамилии Шмидт, увлекся революционными идеями, в 1905 году агитировал рабочих собственной фабрики бастовать, попал в тюрьму и тоже покончил с собой, перерезал вены осколком стекла. Михаил Владимирович смутно помнил какие-то газетные публикации о малолетних сестрах — наследницах Шмидта, будто бы выданных замуж за большевиков и тоже передавших в партийную кассу почти все свое огромное наследство.

Зинаиде Григорьевне Морозовой посчастливилось вовремя уехать. На окнах остались ее цветастые занавески с оборками, на столе ее посуда. Мария Ильинична перенесла к себе из ванной комнаты фаянсовый туалетный столик, белый, в синих васильках. На столике — серебряная пудреница, щетка для волос, граненые флаконы духов. Профессор не спрашивал, чье это, он знал, что даже постельное белье тут морозовское. Из собственного ульяновского имущества только подборка марксистской литературы, узкие раскладные койки, которые эта тройца таскала с собой по всей Европе в годы эмиграции, да клетчатый плед, подарок мамы, Марии Александровны, любимому сыну Володе.

Федор рассказывал, что, когда осенью 1918-го семейство впервые приехало в Горки, Ильич попросил растопить камин в гостиной. Трубы забыли прочистить, едва не спалили дом. Треснуло большое зеркало над каминной полкой. Но в семье Ульяновых не было суеверных. Так и висело зеркало, перечеркнутое черным косым крестом трещины.

— А что же теперь в имении вашего деда? Кто там живет? — решил спросить Михаил Владимирович.

— Никто, — ответил вождь и развел руками, — нет больше имения. Продали его, а потом, я слышал, разгромили мужички в порыве праведного гнева, да сгоряча прихлопнули нового хозяина, эксплуататора. Вот была бы потеха, если бы я оказался на его месте. А ведь мог, запросто мог! Мама так хотела, чтобы я зажил помещиком.

Мария Ильинична, накинув шаль, отправилась провожать профессора. На крыльце остановилась.

— Смотрите-ка, дождь. Автомобиль ваш у ворот, надо бы послать кого-нибудь за шофером, пусть подъедет прямо к дому.

— Спасибо. Я лучше пешком, хочется подышать.

— Да, тут хорошо дышится. Я тоже люблю гулять по парку, чем-то эта чужая усадьба напоминает наше Кокушкино. А то бы остались еще на пару часиков. Вот-вот Сталин явится.

— Ну, тогда мне тем более пора.

Она промолчала, но понимающе улыбнулась, пожала руку Михаилу Владимировичу и ушла в дом. Профессор медленно побрел по аллее, подставив лицо мелкому холодному дождю. Листья только начали желтеть и падать. Незаметно опустился вечер.

Михаил Владимирович особенно любил это время суток, сумерки, когда все затихает, природа молчит, словно задумалась глубоко или беззвучно молится перед сном. Казалось, солнце уже не выглянет, не пробьется сквозь густую хмарь. Свернув с аллеи на тропинку, ведущую к реке, Михаил Владимирович задел плечом юную мокрую елку, и вспыхнули на лету капли, туман засветился, пронизанный пологими лучами, такими плотными, словно свет может быть плотью, теплой и гладкой на ощупь.

В глубокой голубой прогалине посреди сизого облака показалось солнце целиком, тяжелое, густо оранжевое, с вишневым пьяным отливом. Оно стояло совсем низко над горизонтом, тонкий березовый ствол, угольно-черный на фоне света, косо рассекал диск. Михаил Владимирович знал, как легко и радостно, одним прикосновением, исцеляют душу небо, облака, солнце, деревья, роса на стриженной траве, крупные капли в ложбинках палых листьев, тонкая изморось на сером габардине пальто. Знал давно, сколько помнил себя, а все удивлялся, каждый раз это было словно впервые.

Пока он спускался к реке, солнце исчезло, студеная мгла залила парк. Впереди, на черной траве, смутно белел овальный блик, лодка, втянутая на берег. Михаил Владимирович иногда после визита к вождю позволял себе короткую прогулку до маленького скрипучего пирса. Залезал в лодку, выкуривал папиросу, слушал лягушек, плеск воды, тишину.

До лодки осталось несколько шагов, и вдруг вспыхнул огонек. Кто-то стоял и курил у пирса. Михаил Владимирович хотел тихо удалиться, но огонек папиросы двинулся прямо к нему.

— Стойте, куда вы, господин Свешников?

Разумеется, нельзя было не узнать этот голос, кавказский акцент, коренастую узкоплечую фигуру в коротком темном пальто. Он двигался по траве совершенно беззвучно в своих мягких сапогах.

— Добрый вечер, Иосиф Виссарионович, — профессор остановился, достал папиросы.

Чиркнула спичка. Подсветилось снизу усатое лицо, блеснули глаза. Спичка тихо затрещала и погасла. Профессор достал еще одну. Пока прикуривал, успел заметить черный поднятый воротник, красный вязаный шарф.

— Не самое подходящее время для прогулок, — тихо заметил Сталин, — темно, сыро. Простыть не боитесь?

— А вы?

— Мне терять нечего. Горло и так уж болит.

— Чем лечитесь?

— Шарфом заматываюсь, мама моя для меня его связала, давно, лет двадцать назад. Помогает лучше любых лекарств.

— Шарф — это, конечно, хорошо, но все равно идите скорее в дом, выпейте чаю горячего. Вы сипите, догуляетесь до ангины.

— Сейчас пойду. Только скажите, как он?

— Ему значительно лучше.

— Он поправляется?

— При его болезни поправиться трудно.

— Он безнадежен?

— Он очень сильный человек, у него огромная воля к жизни, и одно это дает надежду.

— Да, он сильный. Горный орел, вождь новых масс, простых обыкновенных масс, самых глубочайших низов человечества.

Сталин произнес это с пародийным пафосом, усмехнулся, затоптал папиросу, тут же стал закуривать новую. Третья вспышка, на этот раз совсем близкая, осветила усы, черный воротник, красный шарф.

Михаил Владимирович вздрогнул, легкий электрический заряд пробежал по телу. Только сейчас, в сумерках, вдруг прояснилось тревожное, тягостное чувство, которое до этого мгновения даже нельзя было назвать воспоминанием. Просто смутный образ, размытая картинка. Хотелось поймать ее, рассмотреть хорошенько, но всякий раз она таяла, словно дразнила.

Еще при первом знакомстве, два года назад, Михаилу Владимировичу показалось, что когда-то где-то он уже встречал этого коренастого кавказца в красном шарфе домашней вязки и прозвучала фраза: «Вождь новых масс, простых обыкновенных масс, самых глубочайших низов человечества». Но только сказано было немного иначе, «вожди», речь шла о двух людях, и это не имело никакого отношения к Ленину.

— Что? — спросил Сталин, и вместе с огоньком папиросы вспыхнули его глаза.

— А? Нет, ничего. Мне пора, всего доброго, — Михаил Владимирович развернулся и быстро пошел вверх по тропинке.

* * *

Москва, 2007

Метель давно кончилась, ключья облаков неслись по небу, ледяной ветер бил в лицо. Соня нашла сухую скамейку в маленьком сквере неподалеку от дома, села, вытащила мобильный.

После разговора с Хотом она не могла оставаться в квартире. Ей хотелось на воздух. К тому же звонить кому-либо при незримых внимательных слушателях она не собиралась.

Вдали, в прогалине между домами, возникло золотистое облако, по форме отчетливо напоминающее силуэт небольшой обезьяны с длинным пушистым хвостом. Прочие облака убегали, а это стояло, подсвеченное холодным солнцем, и не меняло формы. Соня смотрела на него, бесцельно сжимая в руке мобильный. Облако тоже смотрело на Соню, улыбалось всем своим невесомым существом. Опять образовался провал во времени. Исчез уличный шум, остановился ветер, но не темная ледяная пустыня была сейчас вокруг, а совсем наоборот. Теплый, одушевленный свет, в котором ничего не страшно. Окажись в эту минуту рядом какой-нибудь злодей, вроде Хота, он выглядел бы маленьким смешным уродцем, а скорее всего, просто сразу растаял бы, как ком грязного снега в луже.

Порыв ветра сдернул с головы капюшон. Соня вспомнила, что собиралась звонить Зубову, и удивилась, почему так долго неподвижно сидит, уставившись в проем между домами.

Ничего не произошло, но все изменилось. Она сидела минуты две, не больше, смотрела на золотое облако, ни о чем не думала. После этой короткой передышки отпустила нудная боль, которая успела стать привычным состоянием души. Теперь Соня ясно поняла, как далеко зашла в своей депрессии. Еще немного, и могла бы заболеть всерьез.

В голове у нее сложился четкий план дальнейших действий.

Итак, надо позвонить Зубову. Все ему рассказать. Надо лететь в Вуду-Шамбальскую степь и работать. Хотя бы ради того, чтобы больше никто не погиб из-за препарата. В руках Михаила Владимировича препарат спасал, возвращал к жизни. Сейчас он только убивает — одним лишь фактом своего существования. Так не должно быть.

Зубов мгновенно взял трубку. Голос у него был глухой и тревожный.

— Иван Анатольевич, можете приехать?

— Соня, что случилось?

— Приезжайте, пожалуйста. Или нет, лучше я приеду куда-нибудь.

— Соня, понимаете, я... Секунду... нет у него родственников. Ну, значит, я напишу расписку, сейчас... — он заговорил с кем-то, прикрыв трубку ладонью.

Соня ждала, наконец услышала:

— Простите, я перезвоню вам.

— Когда?

— Честно говоря, не знаю. Вот что, я пришлю моего человека, вы с ним знакомы. Дима Савельев.

— Иван Анатольевич, где вы?

— На Брестской. Все, Соня, не могу говорить. Простите.

Раздались частые гудки. Соня вскочила, бросилась к проспекту, подняла руку, чтобы поймать машину. Тут же остановилась новенькая черная «Мицубиси». Соня только заглянула в стекло и помчалась прочь, к метро.

«Боже, что со мной? Ничего страшного, просто физиономия водителя не понравилась. Слишком быстро остановился, будто ждал заранее. Привет. Меня можно поздравить. Начинается мания преследования».

Пока она стояла в очереди за карточкой в метро, позвонил мобильный.

— Софья Дмитриевна, здравствуйте. Это Савельев. Я могу быть у вас через тридцать минут.

— Спасибо, не нужно. Я еду на Брестскую. Вы знаете, что там происходит?

— Нет. Мне только что позвонил Иван Анатольевич, сказал, у вас что-то случилось, нужно срочно приехать.

— Да, вообще-то случилось, но сейчас я должна быть на Брестской.

— Хорошо. Встретимся там.

У «Белорусской» в ближайшей аптеке она купила упаковку шприцев и пару флаконов физраствора.

«Я вряд ли решусь. Я никогда не делала внутривенных инъекций человеку, я колола только крыс, кроликов, морских свинок. Это так, на всякий случай, если совсем уж безнадежно».

На повороте рядом с ней притормозил серый «Опель». Вышел водитель. Соня сразу узнала его. Тот самый Дима Савельев. Он вытащил ее с яхты Хота.

С тех пор прошло больше месяца. Соня забыла, как назывался маленький портовый городок, только помнила, что это было побережье Нормандии. Четыре часа, пока ехали до Парижа, Савельев сидел рядом с Соней на заднем сиденье джипа и терпеливо слушал ее бред. Она бормотала, что больше не хочет жить, что теперь никогда не станет нормальным человеком, не сможет смеяться, радоваться, любить. Это невозможно, если миром правят такие злобные хитрые ублюдки.

Савельев утирал ей слезы, убеждал, что все пройдет, забудется. Миром правят вовсе не они, то есть им хочется так думать, будто они реальная мировая закулиса, но на самом деле они всего лишь злобные хитрые ублюдки.

В Париже он сдал Соню с рук на руки Зубову и дедушке, который специально прилетел из Германии.

С тех пор они с Савельевым ни разу не виделись. Сейчас ей было неловко смотреть ему в глаза. Никогда в жизни она не позволяла себе рыдать у кого-либо на плече, тем более у совершенно чужого человека.

— Садитесь, Софья Дмитриевна, тут всего два шага, но лучше доехать, — сказал он и раскрыл перед ней дверцу.

— Вы говорили с Зубовым? — спросила Соня, когда машина тронулась.

— Конечно. Он просил предупредить вас, там все очень серьезно. Вы должны быть готовы. Понимаете, три дня назад умер Адам. Старик был сильно привязан к псу, и вот, сердце не выдержало.

— Зубов решил не отдавать его в больницу?

— Как вы догадались?

— Слышала обрывок разговора.

— На самом деле это было тяжелое решение для Ивана Анатольевича. Старик пришел в себя, заявил, что помереть хочет дома. Звал вас, но Иван Анатольевич не хотел вас травмировать, он сказал, вы до сих пор не пришли в себя.

— Ерунда. Я в порядке.

Когда въехали во двор на Брестской, навстречу, от подъезда, отчалила «скорая». Дверь в квартиру была открыта, Зубов курил на лестничной площадке.

— Они сделали, что было в их силах, даже больше. Он сейчас в коме, так что можете не спешить, Сонечка, на самом деле шансов никаких, он вряд ли очнется. Они сказали...

Соня махнула рукой и, не раздеваясь, помчалась вглубь квартиры.

Глава шестая

Москва, 1922

Просторная клетка занимала треть лаборатории. В углу стоял толстый обрубок дубового ствола с большим дуплом. С сетчатого потолка свешивались веревки разной длины, с кольцами, узлами, жердочками. Вдоль решеток тянулись перекладыны. На одной из них сидела маленькая лохматая обезьянка. Рыжая длинная шерсть отливала золотом. Обрамленное пышной гривкой продолговатое нежно-бежевое лицо с огромными карими глазами, аккуратным плоским носом приникло к решетке. Мармозетка смотрела на профессора, вытягивала мягкие губы трубочкой, словно хотела поцеловаться, издавала тонкие выразительные звуки.

— Папа, она узнает тебя, — сказала Таня, — у нее меняется выражение лица, когда тыходишь в лабораторию. Думаю, пора дать ей имя. Лева, Левушка. Как, подходит?

— Нет. Ей нужно дать женское имя.

— Но у нее грива, как у льва.

— Львом она никак не может быть. В крайнем случае, львицей. Но у львиц нет гривы.

— Прежние хозяйева как-нибудь ее называли?

— Розалия, — произнес профессор протяжно, басом, — впрочем, это название всего подвида. В энциклопедии она обозначена как золотистая игрушка мармозетка розалия. Обитает на востоке Южной Америки. Предпочитает спать в дупле.

— Это я уже поняла, — хмыкнула Таня, — ты заставил Федора не только клетку для нее найти, но еще и особенное полено, с дуплом. Скажи, ты знал заранее, что она выживет?

— Разумеется, не знал. Но надеялся.

Обезьянка принялась энергично чесать лапой голову. Шелковая ярко-рыжая гривка была выбрита на макушке наподобие монашеской тонзуры.

— Не трогай, — сказал Михаил Владимирович, — расцарапаешь свои раны.

— Пап, перестань. Можно подумать, она понимает.

Обезьянка застыла, взглянула на Таню, скорчила обиженную гримасу, издала тихий, но пронзительный звук, вцепилась в решетку и слегка потрясла ее.

— Ты, мармозетка, со мной споришь? Желаеть выяснить отношения? Изволь, я готова. Давай поговорим, — Таня засмеялась. — Мармозетка Марго. Маргоша. Вот, имечко для тебя.

Последовал изящный прыжок, от переключателя к кольцу на веревке. Длинный пышный хвост взметнулся. Покачавшись на кольце, обезьянка вернулась на переключатель, уселась поудобней и принялась жестикулировать передними лапами. Прижала тонкие кисти к щекам, похлопала в ладоши и наконец изобразила открытые объятия, сопроводив их счастливой детской улыбкой.

— Да, папа, это тебе не крыса, — тихо сказала Таня, — она действительно все понимает. Во-первых, ей понравилось имя. Во-вторых, она просится на ручки. Сам виноват. Избаловал ее. Возишься с ней, как с младенцем.

— Может, поэтому она и выжила, — Михаил Владимирович открыл дверцу клетки. — Иди сюда, Маргоша. Только, пожалуйста, не хулигань.

Обезьянка прыгнула к нему на грудь, вскарабкалась на плечо и прижалась к щеке. Она была размером с белку, весила не больше фунта. С плеча она попыталась перебраться на голову, но профессор взял ее в руки и поднес к лампе.

— Ну, смотри, как все хорошо заживает, — сказал он, разглядывая аккуратный крестообразный шрам на выбритой макушке, — и шерсть отрастает, можно больше не подбривать. Скоро ты опять будешь красавицей.

Далеко в прихожей послышался звонок.

— Двенадцатый час. Кого это нелегкая принесла? — проворчала Таня и вышла из лаборатории.

Оставшись один, Михаил Владимирович вытащил фонендоскоп, стал слушать сердце обезьянки. Оно билось часто, тревожно. Он погладил шелковистую шерсть на спинке.

— Марго, бедная малышка, не я с тобой это сделал, не я, но все равно чувствую себя виноватым.

Обезьянка опять перебралась к нему на плечо и что-то быстро забормотала. За дверью послышались шаги. Профессор хотел посадить Марго назад, в клетку, но острые коготки крепко вцепились в джемпер.

— Добрый вечер, Михаил Владимирович. Простите за вторжение. А, старая знакомая, мармозетка. Смотрите-ка, жива и отлично выглядит.

На пороге стоял высокий худой человек. Большелобое лицо с правильными тонкими чертами, с жесткой линией рта было страшно бледным. Щеки ввалились, темно-карие глаза казались огромными. Черная, стянутая в талии ремнем косоворотка, брюки, заправленные в сапоги, выглядели на нем театральным костюмом, будто постаревший, иссушенный долгим туберкулезом мальчик из дворянской семьи нарядился пролетарием для любительского спектакля.

— Здравствуйте, Глеб Иванович. Что-нибудь случилось?

— Нет-нет, не волнуйтесь. Просто хочу вас кое с кем познакомиться.

— Глеб Иванович, опять? Зачем? — профессор жалобно улыбнулся. — Я страшно занят, устаю, мне совершенно некогда вести эти странные разговоры о магической подземной энергии, чтении мыслей на расстоянии, таинственной Шамбале, стране вечного коммунизма. Да и сил нет. Я старый, мне надо выспаться, чтобы полноценно работать.

— А, вас замучил товарищ Дельфийский?

— Замучил. Является без приглашения, каждую неделю, со своими пифиями. Знаете, я все время путаюсь в них. Старшую, кажется, зовут Стефания. А молоденькие обе Клавдии.

— Наоборот, — рассмеялся гость. — Две Стефании, Клавдия одна. Но вы можете к каждой обращаться пифия. Они отзываются. Скажите, неужели все, что говорит Дельфийский, — бред?

— Все, что этот господин говорит, все, что он делает, не стоит вашего внимания, Глеб Иванович. Мне кажется, ему нужна помощь хорошего психиатра. И его пифиям тоже.

— Да, грустно, однако вам придется сегодня немного потерпеть общество товарища Дельфийского и его пифий. Все четверо уже сидят у вас в гостиной, а с ними еще один человек. Психиатр. Надеюсь, что хороший.

Пока они беседовали, Марго мирно заснула на плече профессора. Гость подошел, ласково погладил рыжую гривку. Именно он, Глеб Иванович Бокий, начальник спецотдела ВЧК, несколько месяцев назад принес Михаилу Владимировичу умирающую обезьянку. У нее была страшная, кровоточащая рана на голове. Бокий рассказал, что некто, возомнивший себя хирургом, решил пересадить бедной зверушке человеческий гипофиз. Обезьянке удивительно повезло. Сотрудники ВЧК явились с обыском именно в тот момент, когда некто собирался вскрыть зверьку череп. Делалось это без наркоза. Никто не знал, сколько давать обезьянке хлороформа. Во время допроса он заявил, что его вдохновили опыты профессора Свешникова.

— Иногда наша организация арестовывает и настоящих злодеев, не только безобидных обывателей, — гордо заметил Бокий.

— Ну, вряд ли вы этого некто арестовали за издевательство над обезьянкой.

— Разумеется, мы пришли к нему по иной причине. Гипофиз он вытащил у живого человека, у своего бывшего любовника, скромного молодого телеграфиста. Беднягу спасти уже никак не удастся, так пусть хотя бы обезьянка выживет. Конечно, следовало бы отнести зверушку к ветеринару. Но квартира, в которой все это произошло, прямо над вами, и я решил, что не стоит терять время.

Не так страшна была рана, как шок, который пришлось пережить мармозетке. Некто, возомнивший себя хирургом, был спиритом по фамилии Бубликов. Михаил Владимирович иногда встречался с верхним соседом, но не мог представить, что творится в его квартире.

— Да, мармозетка, безусловно, выздоровела, — сказал Бокий, — как вам удалось ее спасти?

— Исключительно лаской и заботой. Кстати, ее зовут Марго.

— Подходящее имя. Как думаете, сколько ей лет?

— Понятия не имею. Я привык общаться с крысами, кроликами, морскими свинками. Про обезьян ничего не знаю.

— Арестованный злодей сообщил, что мармозетка очень старая, ей одиннадцать лет, а средняя продолжительность жизни у этого подвида не более десяти, — задумчиво произнес Бокий, — помнит-

ся, у нее была тусклая, сваленная шерсть. А теперь шелковая, блестит. Что вы так тяжело вздохнули, Михаил Владимирович?

— Ничего, Глеб Иванович. Пойдемте к гостям.

* * *

Москва, 2007

Вечером в своем просторном кабинете на верхнем этаже стеклянной офисной башни Петр Борисович Кольт остывал после тяжелых переговоров. Давний приятель, губернатор Вуду-Шамбальского автономного округа Герман Ефремович Тамерланов, только что выкатился, оставив Петра Борисовича раздраженным, растерянным и таким усталым, словно это была не дружеская беседа, а разгрузка товарных вагонов.

Тамерланов уговаривал Кольта вложить солидную сумму в некое новорожденное общественно-политическое движение, имеющее пока условное название ПОЧЦ (Партия общечеловеческих ценностей).

— Петр, ты разве не видишь, что творится? Идет целенаправленное совращение, растрение нации. Наркотики, СПИД, крушение семьи, падение рождаемости. Интернет забит порнографией. Утюг включаешь, оттуда лезет какой-нибудь пидор, песни поет, пропагандирует свое утонченное мировоззрение. Петр, с этим надо что-то делать, иначе будущего не будет! Мы, элита бизнеса и политики, обязаны объединиться для борьбы со всякой нечистью, потому что если не мы их, то они — нас.

Первые двадцать минут Петр Борисович терпеливо слушал пылкий монолог Тамерланова, только один раз не выдержал, перебил, задал вопрос, как часто Герман включает утюг.

В ответ губернатор весело расхохотался.

— Отличный вопрос, Петр. В последний раз это было в детстве. Я хотел погладить пионерский галстук и чуть не спалил квартиру.

В том, что Тамерланов решил заняться борьбой за нравственность, ничего удивительного не было. Бессменный хозяин вуду-шамбальских степей обладал феноменальным чутьем. Его ноздри улавливали легчайший ветерок, запах пыли прежних декораций,

которые вроде бы еще никто не собирался менять на политической сцене. Если Тамерланов говорил, что нужно именно сегодня вырастить и кормить новое парламентское лобби, значит, завтра будет уже поздно. Финансирование партии, которая не выдвигает никакой политической программы, а печется о главном и вечном — отличный вариант, особенно в свете грядущего мирового экономического кризиса, о котором уже шепчутся в деловых кругах.

— Это можно повернуть как угодно. Вправо, влево, вниз, к массам, вверх, к элите. Это никого ни к чему не обязывает, и охотно пойдут все. Актеры, музыканты, писатели, ученые. Борьба за нравственное здоровье будущих поколений — что может быть выше и чище? Кто посмеет возразить?

«Посмеют, еще как посмеют», — хотел сказать Петр Борисович, но вместо этого машинально кивнул.

— Кстати, ПОЧЦ поможет заткнуть всю эту сволочь, которая травит тебя в Интернете, — бодро продолжал Тамерланов.

Кольт вздрогнул. Чуть не спросил: «Откуда ты знаешь?» — но сдержался, шевельнул бровями и равнодушно уточнил:

— Прости, кого заткнуть?

— Ой, ладно, не прикидывайся, — Герман подмигнул, подхихкинул, махнул рукой, — это ты своей пресс-службе можешь рассказывать, что тебе по фигу, а меня стесняться не надо. Представляю, как они тебя достали. Хочется взять пулемет и ды-ды-ды!

Вот с этим «ды-ды-ды» Петр Борисович был вполне согласен. Пулеметная очередь действительно грезилась ему, звучала в голове, как музыка. В последнее время имя его постоянно мелькало в желтой прессе, в Интернете, как будто плотину прорвало. Появлялось множество его фотографий в самых безобразных ракурсах. Где столько нащелкали? И комментарии к ним отвратительные. На глазах рождалась и расцветала причудливая мифология о его жестокости, подлости, лживости, вероломстве, содомском разврате. Незаконнорожденные дети. Брошенные жены. Соблазненные им в извращенной форме несовершеннолетние девственницы. Коварно обманутые партнеры по бизнесу. Хор самозванцев звучал в виртуальном пространстве, голоса множились. Нашелся даже сумасшедший аноним, уверявший, будто совершил по заказу Петра Борисовича дюжину зверских убийств.

Глава пресс-службы, умная, хладнокровная Ольга Евгеньевна пожимала плечами:

— Слишком абсурдно для целенаправленной кампании. Мы же не станем отлавливать каждого виртуального идиота и подавать на него в суд за клевету. Просто не читайте, и все. Оно само утихнет. Найдут следующую жертву. Это, знаете ли, такая нездоровая публика. Они получают сладострастное удовольствие, поливая грязью богатых, знаменитых и успешных людей.

Петру Борисовичу давно уж хотелось в ответ полить их, сладострастных анонимов, пулеметным огнем. Самое скверное, что он не мог удержаться и почитывал эту мерзость. Знал, как это унижительно и вредно для здоровья, однако продолжал украдкой, втайне от самого себя, бродить по блогам, влезать в чаты. Ему казалось, что тысячи людей ненавидят его. Даже проблемы грядущего мирового финансового кризиса и мрачные прогнозы падения цен на нефть волновали его меньше, чем эта пристальная, бескорыстная и безвозмездная ненависть.

— Я тебя отлично понимаю, Петр, — произнес Тамерланов с мягкой дружеской улыбкой. — Сам проходил. Они мне, можно сказать, жизнь сломали.

Внезапно он перестал улыбаться, губы задрожали, в раскосых глазах блеснули слезы. Переход от улыбки к слезам показался слишком быстрым, чуть-чуть неестественным.

— Ты чего? — удивился Кольт.

— Ничего, извини, — Тамерланов всхлипнул и высморкался, — помнишь Машу?

Петр Борисович, безусловно, помнил.

Степь. Темная точка на горизонте, которая стремительно приближалась, стала всадником в облаке пыли, а потом оказалась всадницей, изящной тридцатилетней женщиной, русоволосой, с темным от пыли лицом. Только глаза и зубы блестели.

Да, Петр Борисович помнил Машу. Пару лет назад ради нее Тамерланов разогнал свой многонациональный гарем. Сиял от счастья, уверял, что кроме нее никто ему не нужен. Но она исчезла куда-то, ее место рядом с губернатором заняли безликие модели, и Кольт все не решался спросить, что случилось.

— Ей стали приходить письма и картинки по электронной почте. Каждый день она включала компьютер и узнавала обо мне

что-то новое. Нет, вначале она не верила, смеялась. Потом перестала смеяться. Хмурилась, задавала вопросы. Знаешь, есть такая древняя китайская казнь. Капает вода на макушку. Кап, кап. Всего лишь водичка. Не кислота, не раскаленный свинец, совсем не больно, однако человек сходит с ума и мучительно умирает. Вот так умерла наша любовь. Маша от меня уехала, и пришлось опять завести гарем.

Петр Борисович сочувственно взглянул на Тамерланова, сказал:

— Надо же, Герман, я не знал этого. Как жаль, она такая милая. А ты не пытался ее вернуть?

Губернатор ничего не ответил, как будто оглох. Слезы высохли, глаза расширились. Секунду он сидел неподвижно, и вдруг лицевые мышцы зашевелились, словно под толщей кожи что-то ползало и перекатывалось. Произошел сбой механизма, переводящего эмоции в мимику. Лицо губернатора ходило ходуном. Только глаза оставались неподвижными, смотрели в одну точку, в переносицу Петра Борисовича. Это продолжалось всего несколько мгновений и закончилось так же внезапно, как началось. Герман Ефремович энергично покрутил головой. Лицо его вернулось на место, приобрело нормальную форму и человеческое выражение.

— Герман, у тебя нервный тик? — спросил Петр Борисович.

— Тик? У меня? С чего ты взял?

— А что у тебя сейчас было с лицом?

— С лицом? — Тамерланов быстро ощупал щеки, подбородок, встал, подошел к зеркалу, посмотрел внимательно. Со спокойным, довольным выражением вернулся в кресло.

— По-моему, я отлично выгляжу. Не понимаю, о чем ты? Что тебе не понравилось?

Изумление казалось столь искренним, что Кольт почувствовал колючий холодок в солнечном сплетении. Губернатор не заметил, не понял, что с ним случилось минуту назад.

«Теперь это мне приснится в самых жутких кошмарах», — отстраненно подумал Кольт и сказал, хрипло кашлянув:

— Понравилось, не понравилось. Не в этом дело. Просто я давно не видел тебя таким грустным. Ты стал говорить о Маше, и у тебя были слезы.